

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Андрей
ПЛАТОНОВ

Счастливая Москва



IM WERDEN VERLAG
МОСКВА - AUGSBURG 2003

Андрей Платонов
Счастливая Москва

Над романом «Счастливая Москва» А. П. Платонов работал в 1932-36 гг. Опубликован впервые в сентябрьском номере «Нового мира» за 1991 год.

Публикация М. А. Платоновой.

© Андрей Платонов. Наследники. 2003
© «Im Werden Verlag». Составление и оформление. 2003

<http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

Темный человек с горящим факелом бежал по улице в скучную ночь поздней осени. Маленькая девочка увидела его из окна своего дома, проснувшись от скучного сна. Потом она услышала сильный выстрел ружья и бедный грустный крик — наверно убили бежавшего с факелом человека. Вскоре послышались далекие, многие выстрелы и гул народа в ближней тюрьме... Девочка уснула и забыла все, что видела потом в другие дни: она была слишком мала, и память и ум раннего детства заросли в ее теле навсегда последующей жизнью. Но до поздних лет в ней неожиданно и печально поднимался и бежал безымянный человек — в бледном свете памяти — и снова погибал во тьме прошлого, в сердце выросшего ребенка. Среди голода и сна, в момент любви или какой-нибудь другой молодой радости — вдруг вдалеке, в глубине тела опять раздавался грустный крик мертвого, и молодая женщина сразу меняла свою жизнь — прерывала танец, если танцевала, сосредоточенней, надежней работала, если трудилась, закрывала лицо руками, если была одна. В ту ненастную ночь поздней осени началась октябрьская революция — в том городе, где жила тогда Москва Ивановна Честнова.

Отец ее скончался от тифа, а голодная осиротевшая девочка вышла из дома и больше назад не вернулась. С уснувшей душой, не помня ни людей, ни пространства, она несколько лет ходила и ела по родине, как в пустоте, пока не очнулась в детском доме и в школе. Она сидела за партой у окна, в городе Москве. На бульваре уже перестали расти деревья, с них без ветра падали листья и покрывали умолкшую землю — на долгий сон грядущий; был конец сентября месяца и тот год, когда кончились все войны и транспорт начал восстанавливаться.

В детском доме девочка Москва Честнова находилась уже два года, здесь же ей дали имя, фамилию и даже отчество, потому что девочка помнила свое имя и раннее детство очень неопределенно. Ей казалось, что отец звал ее Олей, но она в этом не была уверена и молчала, как безымянная, как тот погибший ночной человек. Ей тогда дали имя в честь Москвы, отчество в память Ивана — обыкновенного русского красноармейца, павшего в боях, — и фамилию в знак честности ее сердца, которое еще не успело стать бесчестным, хотя и было долго несчастным.

Ясная и восходящая жизнь Москвы Честновой началась с того осеннего дня, когда она сидела в школе у окна, уже во второй группе, смотрела в смерть листьев на бульваре и с интересом прочитала вывеску противоположного дома: «Рабоче-крестьянская библиотека-читальня имени А. В. Кольцова». Перед последним уроком всем детям дали в первый раз их жизни по белой булке с котлетой и картофелем и рассказали, из чего делаются котлеты — из коров. Заодно велели всем к завтрашнему дню написать сочинение о корове, кто их видел, а также о своей будущей жизни. Вечером Москва Честнова, наевшись булкой и густой котлетой, писала сочинение за общим столом, когда все подруги ее уже спали и слабо горел маленький электрический свет. «Рассказ девочки без отца и матери о своей будущей жизни. — Нас учат теперь уму, а ум в голове, снаружи ничего нет. Надо жить по правде с трудом, я хочу жить будущей жизнью, пускай будет печенье, варенье, конфеты и можно всегда гулять в поле мимо деревьев. А то я жить не буду, если так, мне не хочется от настроения. Мне хочется жить обыкновенно со счастьем. Вдобавок нечего сказать».

Из школы Москва впоследствии сбежала. Ее вернули снова через год и стыдили на общем собрании, что она как дочь революции поступает недисциплинированно и неэтично.

— Я не дочь, я сирота! — ответила тогда Москва и снова стала прилежно учиться, как не бывшая нигде в отсутствии.

Из природы ей нравились больше всего ветер и солнце. Она любила лежать где-нибудь в траве и слушать о том, что шумит ветер в гуще растений, как невидимый, тоскующий человек, и видеть летние облака, плывущие далеко над всеми неизвестными странами и народами; от наблюдения облаков и пространства в груди Москвы начиналось сердцебиение, как будто ее тело было вознесено высоко и там оставлено одно. Потом она ходила по полям, по простой плохой земле и зорко, осторожно всматривалась всюду, еще только осваиваясь жить и радуясь, что ей здесь все подходит — к ее телу, сердцу и свободе.

По окончании девятилетки Москва, как всякий молодой человек, стала бессознательно искать дорогу в свое будущее, в счастливую тесноту людей; ее руки томились по деятельности, чувство искало гордости и героизма, в уме заранее торжествовала еще таинственная, но высокая судьба. Семнадцатилетняя Москва не могла никуда войти сама, она ждала приглашения, словно ценя в себе дар юности и выросшей силы. Поэтому она стала на время одинокой и странной. Случайный человек познакомился однажды с Москвой и победил ее своим чувством и любезностью, — и тогда Москва вышла за него замуж, навсегда и враз испортив свое тело и молодость. Ее большие руки, годные для смелой деятельности, стали обниматься; сердце, искавшее героизма, стало любить лишь одного хитрого человека, вцепившегося в Москву, как в свое неперемное достояние. Но в одно утро Москва почувствовала такой томящий стыд своей жизни, не сознавая точно, от чего именно, что поцеловала спящего мужа в лоб на прощанье и ушла из комнаты, не взяв с собой ни одного второго платья. До вечера она ходила по бульварам и по берегу Москвы-реки, чувствуя один ветер сентябрьской мелкой непогоды и не думая ничего, как пустая и усталая.

Ночью она хотела залезть на ночлег куда-нибудь в ящик, найти порожнюю пищевую будку Мостропа или еще что-либо, как поступала она прежде в своем бродячем детстве, но заметила, что давно стала большая и не влезет незаметно никуда. Она села на скамью в темноте позднего бульвара и задремала, слушая, как бродят вблизи и бормочут воры и бездомовные хулиганы.

В полночь на ту же самую скамью сел незначительный человек, с тайной и совестливой надеждой, что может быть эта женщина полюбит его внезапно сама, поскольку он не мог по кротости своих сил настойчиво добиваться любви; он в сущности не искал ни красоты лица, ни прелести фигуры — он был согласен на все и на высшую жертву со своей стороны, лишь бы человек ответил ему верным чувством.

— Вам чего? — спросила его проснувшаяся Москва.

— Мне ничего! — ответил этот человек. — Так просто.

— Я спать хочу, и мне негде, — сказала Москва.

Человек сейчас же заявил ей, что у него есть комната, но во избежание подозрений в его намерениях — лучше ей снять номер в гостинице и там проспать в чистой постели, закутавшись в одеяло. Москва согласилась, и они пошли. По дороге Москва велела своему спутнику устроить ее куда-нибудь учиться — с пищей и общежитием.

— А что вы любите больше всего? — спросил он.

— Я люблю ветер в воздухе и еще разное кое-что, сказала утомленная Москва.

— Значит — школа воздухоплавания, другое вам не годится, — определил сопровождающий Москву человек. — Я постараюсь.

Он нашел ей номер в Мининском Подворье, заплатил вперед за трое суток и дал на продукты тридцать рублей, а сам пошел домой, унося в себе свое утешение.

Через пять дней Москва Честнова посредством его заботы поступила в школу воздухоплавания и переехала в общежитие.

В центре столицы, на седьмом этаже жил тридцатилетний человек Виктор Васильевич Божко. Он жил в маленькой комнате, освещаемой одним окном; гул нового мира доносился на высоту такого жилища как симфоническое произведение — ложь низких и ошибочных звуков

затухала не выше четвертого этажа. В комнате было бедное суровое убранство, не от нищеты, а от мечтательности: железная кровать эпидимического образца с засаленным, насквозь прочеловеченным одеялом, голый стол, годный для большой сосредоточенности, стул из ширпотребного утиля, самодельные полки у стены с лучшими книгами социализма и девятнадцатого века, три портрета над столом — Ленин, Сталин и доктор Заменгоф, изобретатель международного языка эсперанто. Ниже трех портретов висели в четыре ряда мелкие фотографии безымянных людей, причем на фотографиях были не только белые лица, но также негры, китайцы и жители всех стран.

До позднего вечера комната эта бывает пуста; уставшие опечаленные звуки постепенно замирают в ней, скужающее вещество потрескивает иногда, свет солнца медленно бредет по полу четырехугольником окна и стусевывается на стене в ночь. Все кончается, одни предметы томятся в темноте.

Приходит живущий здесь человек и зажигает технический свет электричества. Жилец счастлив и покоен, как обычно, потому что жизнь его не проходит даром; тело его устало за день, глаза побелели, но сердце бьется равномерно и мысль блестит ясно как утром. Сегодня Божко, геометр и городской землеустроитель, закончил тщательный план новой жилой улицы, рассчитав места зеленых насаждений, детских площадок и районного стадиона. Он предвкушал близкое будущее и работал с сердцебиением счастья, к себе же самому, как рожденному при капитализме, был равнодушен.

Божко вынул пачку личных писем, получаемых им почти ежедневно в адрес службы, и сосредоточился в них своим размышлением за пустым столом. Ему писали из Мельбурна, Капштадта, из Гонконга, Шанхая, с небольших островов, притаившихся в водяной пустыне Тихого океана, из Мегариды — поселка у подножия греческого Олимпа, из Египта и многочисленных пунктов Европы. Служащие и рабочие, дальние люди, прижатые к земле неподвижной эксплуатацией, научились эсперанто и победили безмолвие между народами; обессиленные трудом, слишком бедные для путешествий, они сообщались друг с другом мыслью.

В числе писем было несколько денежных переводов: негр из Конго перевел 1 франк, сириец из Иерусалима 4 амдоллара, поляк Студзинский каждые три месяца переводил по 10 злотых. Они заранее строили себе рабочую родину, чтобы им было где приютиться на старости лет, чтобы дети их могли в конце концов убежать и спастись в холодной стране, нагретой дружбой и теплом.

Божко аккуратно вносил эти деньги на заем, а облигации отсылал невидимым владельцам с обратной распиской.

Изучив корреспонденцию, Божко писал ответ на каждое письмо, чувствуя свое преимущество как деятель СССР. Но писал он не гордо, а скромно и с участием:

«Дорогой, отдаленный друг. Я получил ваше письмо, у нас здесь делается все более хорошо, общее добро трудящихся ежедневно приумножается, у всемирного пролетариата скопляется громадное наследство в виде социализма. Каждый день растут свежие сады, заселяются новые дома и быстро работают изобретенные машины. Люди также вырастают другие, прекрасные, только я остаюсь прежним, потому что давно родился и не успел еще отвыкнуть от себя. Лет через пять-шесть у нас хлеба и культурных удобств образуется громадное количество, и весь миллиард трудящихся на пяти шестых земли, взяв семьи, может приехать к нам жить навеки, а капитализм пусть остается пустым, если там не наступит революция. Обрати внимание на Великий Океан, ты живешь на его берегу, там плывут иногда советские корабли, это — мы. Привет».

Негр Арратау сообщал, что у него умерла жена; тогда Божко отвечал сочувствием, но приходить в отчаяние не советовал — надо сберечь себя для будущего, ибо на земле некому быть кроме нас. А лучше всего — пусть Арратау немедленно приезжает в СССР, здесь он может жить среди товарищей, счастливее чем в семействе.

На утренней заре Божко заснул со сладостью полезного утомления; во сне ему снилось, что он — ребенок, его мать жива, в мире стоит лето, безветрие и выросли великие рощи.

По своей службе Божко славился лучшим ударником. Кроме прямой геометрической работы он был секретарем стенгазеты, организатором ячеек Осовиахима и Мопра, завхозом огородного хозяйства и за свой счет учил в школе воздухоплавания одну малоизвестную ему девушку, чтобы хоть немного ослабить расходы государства.

Эта девушка раз в месяц заходила к Божко. Он ее угощал конфетами, отдавал ей деньги на пищу и свой пропуск в магазин ширпотреба, и девушка застенчиво уходила. Ей было неполных девятнадцать лет, ее звали Москва Ивановна Честнова; он ее встретил однажды на осеннем бульваре в момент своей стихийной печали и с тех пор не мог забыть.

После ее посещения Божко обычно ложился вниз лицом и тосковал от грусти, хотя причиной его жизни была одна всеобщая радость. Поскучав, он садился писать письма в Индию, на Мадагаскар, в Португалию, созывая людей к участию в социализме, к сочувствию труженникам на всей мучительной земле, и лампа освещала его лысеющую голову, наполненную мечтой и терпением.

Один раз Москва Честнова пришла как обычно и ушла не сразу. Два года знал ее Божко, но стеснялся смотреться близко в ее лицо, не надеясь ни на что.

Москва смеялась, она окончила школу пилотов и принесла угощение за свой счет. Божко стал есть и пить с молодой Москвой, но сердце его билось с ужасом, потому что оно почувствовало давно заключенную в нем любовь.

Когда наступила поздняя ночь, Божко открыл окно в темное пространство, и в комнату прилетели бабочки и комары, но было так тихо всюду, что Божко слышал биение сердца Москвы Ивановны в ее большой груди; это биение происходило настолько ровно, упруго и верно, что если можно было бы соединить с этим сердцем весь мир, то оно могло бы регулировать течение событий, — даже комары и бабочки, садясь спереди на кофту Москвы, сейчас же улетали прочь, пугаясь гула жизни в ее могущественном и теплом теле. Щеки Москвы, терпя давление сердца, надолго, на всю жизнь приобрели загорелый цвет, глаза блестели ясностью счастья, волосы выгорели от зноя над головой и тело опухло в поздней юности, находясь уже накануне женственной человечности, когда человек почти нечаянно заводится внутри человека.

Божко неотлучно, до нового светлого утра глядел и глядел на Москву, когда девушка давно уснула в его комнате, — и сонная, счастливая свежесть, как здоровье, вечер и детство, входили в этого усталого человека.

На другой день Москва пригласила Божко на аэродром — посмотреть работу новых парашютов.

Небольшой аэроплан взял к себе внутрь Москву и полетел высоко в вековое пустынное небо. В зените аэроплан приостановил мотор, наклонился вперед и скинул из-под своего туловища светлый комочек, который без дыхания понесся в бездну. В то же время невысоко над землей медленно летел другой аэроплан и, сбавив работу трех своих моторов, желал посадки. На низкой высоте, над этим трехмоторным парящим самолетом, одинокое воздушное тельце, беззащитно мчавшееся с нарастающим ускорением, распустилось в цветок, надулось воздухом и закачалось. Трехмоторный самолет сразу пустил все свои машины, чтобы уйти от парашюта, но парашют был слишком близок, его могло втянуть под винты в вихревые потоки, и умный пилот снова погасил моторы, давая парашюту свободу ориентации. Тогда парашют опустился на плоскость крыла и свернулся, а через несколько мгновений по накренившемуся крылу медленно и без испуга прошел небольшой человек и скрылся в машине.

Божко знал, что это прилетела из воздуха Москва; вчера он слышал ее равномерное, гулкое сердце, — теперь он стоял и плакал от счастья за все смелое человечество, жалея, что давал Москве Честновой в течение двух лет сто рублей в месяц, а не полтора.

Ночью Божко опять, как обыкновенно, писал письма всему заочному миру, с увлечением описывая тело и сердце нового человека, преодолевающего смертельное пространство высоты.

А на рассвете, заготовив почту человечеству, Божко заплакал; ему жалко стало, что сердце Москвы может летать в воздушной природе, но любить его не может. Он уснул и спал без памяти до вечера, забыв про службу.

Вечером к нему постучался кто-то и пришла Москва, счастливая по виду, как постоянно, и с прежним громким сердцем. Божко робко, от крайней нужды своего чувства, обнял Москву, а она его стала целовать в ответ. В исхудалом горле Божко заклокотала скрытая мучительная сила и он больше не мог опомниться, узнавая единственное счастье теплоты человека на всю жизнь.

3

Каждое утро, просыпаясь, Москва Честнова долго смотрела на солнечный свет в окне и говорила в своем помышлении: «Это будущее время настает», и вставала в счастливой безотчетности, которая зависела, вероятно, не от сознания, а от сердечной силы и здоровья. Затем Москва мылась, удивляясь химии природы, превращающей обыкновенную скудную пищу (каких только нечистот Москва не ела в своей жизни!) в розовую чистоту, в цветущие пространства ее тела. Даже будучи сама собой, Москва Честнова могла глядеть на себя, как на постороннюю, и любоваться своим туловищем во время его мытья. Она знала, конечно, что здесь нет ее заслуг, но здесь есть точная работа прошлых времен и природы, — и позже, жуя завтрак, Москва мечтала что-то о природе — текущей водою, дующей ветром, непрерывно ворочающейся, как в болезненном бреде, своим громадным терпеливым веществом... Природе надо было обязательно сочувствовать — она столько потрудилась для создания человека, — как неимущая женщина, много родившая и теперь уже шатающаяся от усталости...

По окончании школы воздухоплавания Москву назначили младшим инструктором при той же школе. Она теперь обучала группу парашютистов способу равнодушного прыжка из аэроплана и спокойствию характера при опускании в гулком пространстве.

Сама Москва летала, не ощущая в себе никакого особого напряжения или мужества, она лишь точно, как в детстве, считала, где «край», т. е. конец техники и начало катастрофы, и не доводила себя до «края». Но «край» был гораздо дальше, чем думали, и Москва все время отодвигала его.

Однажды она участвовала в испытании новых парашютов, пропитанных таким лаком, который скатывал прочь влагу атмосферы и позволял делать прыжки даже в дождь. Честнову снарядили в два парашюта — другой дали в запас. Ее подняли на две тысячи метров и оттуда попросили броситься на земную поверхность сквозь вечерний туман, развившийся после дождей.

Москва отворила дверь аэроплана и дала свой шаг в пустоту; снизу в нее ударил жесткий вихрь, будто земля была жерлом могучей воздуходувки, в которой воздух прессуется до твердости и встает вверх — прочно, как колонна; Москва почувствовала себя трубой, продуваемой насквозь, и держала все время рот открытым, чтобы успевать выдыхать внизывающийся в нее в упор дикий ветер. Кругом нее было смутно от тумана, земля находилась еще далеко. Москва начала раскачиваться, не видимая никем из-за мглы, одинокая и свободная. Затем она вынула папиросу и спички и хотела зажечь огонь, чтобы закурить, но спичка потухла; тогда Москва скорчилась, чтобы образовать уютное тихое место около своей груди, и сразу взорвала все спички в коробке, — и огонь, схваченный вихревою тягой, мгновенно поджег горючий лак, которым были пропитаны шелковые лямки, соединявшие тяжесть человека с оболочкой парашюта; эти лямки сгорели в ничтожное мгновение, успев лишь нагреться и рассыпаться в прах, — куда делась оболочка, Москва не рассмотрела, так как ветер начал сжигать кожу на ее лице вследствие жесткой, все более разгорающейся скорости ее падения вниз.

Она летела с горячими красными щеками и воздух грубо драл ее тело, как будто он был не ветер небесного пространства, а тяжелое мертвое вещество, — нельзя было представить, чтобы земля была еще тверже и беспощадней. «Вот какой ты, мир, на самом деле» — думала нечаяно Москва Честнова, исчезая сквозь сумрак тумана вниз. — Ты мягкий только когда тебя не трогаешь!» Она дернула кольцо запасного парашюта, увидела землю аэродрома в сигнальных огнях и закричала от внезапного мучения — раскрывшийся парашют рванул ее тело вверх с

такой силой, что Москва почувствовала свои кости, как сплошь заболевшие зубы. Через две минуты она уже сидела на траве, покрытая парашютом, и стала выползать оттуда, вытирая слезы, выбитые ветром.

Первым к Москве Честновой подошел известный летчик Арканов, не погнувшийся за десять лет работы ни одного хвостового крюка, не знавший никогда ни неудачи, ни аварии.

Москва выползла из-под оболочки всесоюзной знаменитостью. Арканов и другой пилот взяли ее под руки и повели в комнату отдыха, приветствуя по пути. На прощанье Арканов сказал Москве: «Нам жалко утратить вас, но кажется мы вас уже потеряли... Вы понятия не имеете о Воздухофлоте, Москва Ивановна! Воздухофлот это скромность, а вы — роскошь! Желаю вам всякого счастья!»

Через два дня Москву Честнову освободили на два года от летной работы вследствие того, что атмосфера — это не цирк для пускания фейерверков из парашютов.

Некоторое время о счастливом, молодом мужестве Москвы Честновой писали газеты и журналы; даже за границей полностью сообщили о прыжке с горящим парашютом и напечатали красивую фотографию «воздушной комсомолки», но потом это прекратилось, а Москва вообще не поняла своей славы: что это такое.

Она жила теперь на пятом этаже нового дома, в двух небольших комнатах. В этом доме жили летчики, конструкторы, различные инженеры, философы, экономические теоретики и прочие профессии. Окна Москвы Честновой выходили вверх окрестных московских крыш, и вдалеке — на ослабевшем умирающем конце пространства видны были какие-то дремучие леса и загадочные вышки; на заходе солнца там одиноко блестел неизвестный диск, отражая последний свет на облака и на небо, — до этой влекущей страны было километров десять, пятнадцать, но, если выйти из дома на улицу, Москва Честнова не нашла бы туда дороги... Освобожденная из воздухофлота, Москва проводила свои вечера одна, к Божко она больше не ходила, подруг своих не звала. Она ложилась животом на подоконник, волосы ее свисали вниз, и слушала, как шумит всемирный город в своей торжественной энергии и раздается иногда голос человека из гулкой тесноты бегущих механизмов; подняв голову, Москва видела, как восходит пустая неимущая луна на погасшее небо, и чувствовала в себе согревающее течение жизни... Ее воображение работало непрерывно и еще никогда не уставало, — она чувствовала в уме происхождение различных дел и мысленно принимала в них участие; в одиночестве она наполняла весь мир своим вниманием и следила за огнем фонарей, чтоб они светили, за гулками равномерными ударами паровых копров на Москве-реке, чтоб сваи входили прочно в глубину, и думала о машинах, день и ночь напрягающихся в своей силе, чтоб горел свет в темноте, шло чтение книг, молотилась рожь моторами для утреннего хлебопечения, чтоб нагнеталась вода по трубам в теплый душ танцевальных зал и происходило зачатие лучшей жизни в горячих и крепких объятиях людей — во мраке, уединении, лицом к лицу, в чистом чувстве объединенного удвоенного счастья. Москве Честновой не столько хотелось переживать самой эту жизнь, сколько обеспечивать ее — круглые сутки стоять у тормозного крана паравоза, везя людей навстречу друг другу, чинить трубу водопровода, вешать лекарства больным на аналитических весах — и потухнуть вовремя лампой над чужим поцелуем, вберя в себя то тепло, которое только что было светом. Свои интересы она при этом не отвергала — ей тоже надо было девать куда-нибудь свое большое тело, — она их лишь откладывала до более дальнего будущего: она была терпелива и могла ожидать.

Когда Москва свешивалась из своего окна в вечера одиночества, ей кричали снизу приветствия прохожие люди, ее звали куда-то в общий летний сумрак, обещали показать все аттракционы парка культуры и отдыха и купить цветов и сливочных тянучек. Москва смеялась им, но молчала и не шла. Позже Москва видела сверху, как начинали населяться окрестные крыши старых домов: через чердаки на железные кровли выходили семьи, стелили одеяла и ложились спать на воздухе, помещая детей между матерью и отцом; в ущельях же крыш, где-нибудь между пожарным лазом и трубой, уединялись женихи с невестами и до утра не закрывали глаз, находясь ниже звезд и выше многолюдства. После полуночи почти все видимые окна

переставали светиться, — дневной ударный труд требовал глубокого забвения во сне, — и шепотом, не беспокоя сигналами, проходили поздние автомобили; лишь изредка потухшие окна снова освещались на короткое время — это приходили люди с ночных смен, ели что-нибудь, не будя спящих, и сразу ложились спать; другие же, выспавшись, вставали уходить на работу — машинисты турбин и паравозов, радиотехники, бортмеханики утренних рейсов, научные исследователи и прочие отдохнувшие.

Дверь в свою квартиру Москва Честнова часто забывала закрывать. Однажды она застала незнакомого человека, спящего на полу на своей верхней одежде. Москва подождала, пока проснется ее усталый гость. Он проснулся и сказал, что будет жить тут в углу — больше ему негде. Москва поглядела на этого человека; ему было лет сорок, на лице его лежали окоченелые рубцы миновавших войн и кожа имела бурый, обветренный цвет большого здоровья и доброго сердца, а рыжеватые усы кротко росли над утомленным ртом.

— Я бы не вошел к тебе без спроса, лохматая красавица, — сказал неизвестный гость, — но телу нужно покой давать, а места нету... Я тебя не обижу, считай меня как ничто, вроде лишнего стола. Ты не звука, ни запаха не услышишь от меня.

Москва спросила его: кто он такой, гость объяснил про себя все подробно, с предъявлением документов.

— Ну а то как же! — произнес вселившийся. — Я человек обыкновенный, у меня все в порядке.

Он оказался весовщиком дровяного склада, родом из Ельца, и Москва Честнова не решилась отдавать коммунизм из-за бедности в жилищах и своего права на дополнительную площадь, — она промолчала и дала жильцу подушку и одеяло. Жилец стал жить, по ночам он вставал и подходил на цыпочках к постели спящей Москвы, чтобы укрыть ее одеялом, потому что она ворочалась, раскрывалась и прозябала; по утрам же он никогда не ходил в уборную при квартире, не желая загружать ее своею гадостью и шуметь водой, а отправлялся в публичный клозет на дворе. Через несколько дней жизни в квартире Честновой весовщик уже укреплял каблуки на стоптанных туфлях Москвы, втайне чистил ее осеннее пальто от приставшего праха и согревал чай, с радостью ожидая пробуждения хозяйки. Москва сначала ругала весовщика за подхалимство, а потом, чтоб изжить такое рабство, ввела со своим жильцом хозрасчет — стала штопать его носки и даже брить его щетину по лицу безопасной бритвой.

Вскоре комсомольская организация определила Честнову на временную работу в районный военкомат — для ликвидации упущений в учете.

4

Однажды в коридоре военкомата стоял худой и бледный вневойсковик с книжкой военного учета в руках. Ему казалось, что в райвоенкомате пахло так же, как в местах длительного заключения — безжизненностью томящегося человеческого тела, сознательно ведущего себя скромно и экономично, чтобы не возбуждать внутри себя замирающего влечения к удаленной жизни и не замучиться потом в тщетности, от тоски отчаяния. Равнодушная идеологичность убранства, сделанного по дешевому госбюджету, и незначительность служащих лиц обещали пришедшему человеку бесчувствие, происходящее от бедного или жестокого сердца.

Вневойсковик ожидал служащую у одного окна, пока она дочитывала стихи в книге; вневойсковик полагал, что от стихов каждый человек становится добрее — он сам читал книги до полуночи в молодости своей жизни и после того чувствовал себя грустно и безразлично. Служащая, дочитав стих, начала ставить вневойсковика на переучет, удивляясь тому, что этот человек, по данным учетного бланка, не был ни в белой, ни в красной армии, не проходил всеобщего военного обучения, не являлся никогда на сборно-учебные пункты, не участвовал в территориальных соединениях и в походах Осовиахима и на три года пропустил срок своей перерегистрации. Неизвестно, каким способом, в какой тишине данный вневойсковик сумел

укрыться от бдительности домоуправлений, со своей военно-учетной книжкой устаревшего образца.

Военнослужащая посмотрела на вневойсковика. Перед нею, за изгородью, отделявшей спокойствие учреждения от людей, стоял посетитель с давно исхудавшим лицом, покрытым морщинами тоскливой жизни и скучными следами слабости и терпения; одежда на вневойсковике была так же изношена, как кожа на его лице, и согревала человека лишь за счет долговечных нечистот, въевшихся в ветхость ткани; он смотрел на служащую с робкой хитростью, не ожидая к себе сочувствия, и часто, опустив глаза, закрывал их вовсе, чтобы видеть тьму, а не жизнь; на одно мгновение он вообразил себе облака на небе — он любил их, потому что они его не касались и он им был чужой.

Поглядев нечаянно в даль военкомата, вневойсковик вздрогнул от удивления: на него смотрели два ясных глаза, обросших сосредоточенными бровями, не угрожая ему ничем. Вневойсковик много раз видел где-то такие глаза, внимательные и чистые, и всегда моргал против этого взгляда. «Это настоящая красная армия! — подумал он с грустным стыдом. — Господи! Почему я зря пропустил всю свою жизнь, ради иждевения самого себя!..» Вневойсковик всегда ожидал от учреждений ужаса, измождения и долготерпеливой тоски, — здесь же он увидел вдалеке человека, сочувственно думающего по поводу него.

«Красная армия» встала с места, — она оказалась женщиной, — и подошла к вневойсковику. Он испугался прелести и силы ее лица, но из сожаления к своему сердцу, которое может напрасно заболеть от любви, отвернулся от этой служащей. Подошедшая Москва Честнова взяла у него учетную книжку и оштрафовала его на пятьдесят рублей за нарушение учетного закона.

— У меня денег нету, — сказал вневойсковик. — Я лучше как-нибудь живьем штраф отплачу.

— Ну как же? — спросила Москва.

— Не знаю, — тихо произнес вневойсковик. — Мне так себе живется.

Честнова взяла его за руку и отвела к своему столу.

— От чего вам так себе живется? — спросила она. — Вы хотите что-нибудь?

Вневойсковик не мог ответить; он чувствовал, как пахло от этой служащей красноармейской женщины мылом, потом и какою-то милой жизнью, чуждой для его сердца, таящегося в своем одиночестве, в слабом тлеющем тепле. Он нагнул голову и заплакал от своего жалкого положения, а Москва Честнова в недоумении отпустила его руку. Вневойсковик постоял немного, а потом обрадовался, что его не задерживают, и скрылся в свое неизвестное жилище, чтобы просуществовать как-нибудь до гроба без учета и опасности.

Но Честнова нашла его адрес в переучетном бланке и через некоторое время пошла в гости к вневойсковику.

Она долго ходила в глуши бауманского района, пока не отыскала один небольшой жакт, в котором находился вневойсковик. Это был дом с неработоспособным правлением и с дефицитным балансом расходов, так что его стены уже несколько лет не окрашивались свежей краской, а нелюдимый, пустой двор, где даже камни истерлись от детских игр, давно требовал к себе надлежащей заботы.

С печалью прошла Москва мимо стен и по смутно освещенным коридорам этого жакта, как будто ее обидели или она была виновата в чужой небрежной и несчастной жизни. Когда Москва Честнова вышла по ту сторону дома, обращенную к длинному сплошному забору, она увидела каменное крыльцо с железным навесом, под которым горел электрический фонарь. Она прислушалась к шуму в окружающем воздухе — за забором сбрасывали тес на землю и слышно, как внизывались лопаты в грунт; у железного навеса стоял непокрытый лысый человек и играл на скрипке мазурку в одиночестве. На каменной плите лежала шляпа музыканта, прожившая все долгие невзгоды на его голове — и некогда она покрывала шевелюру молодости, а теперь собирала деньги для пропитания старости, для поддержания слабого сознания в ветхой голой голове.

Честнова положила в эту шляпу рубль и попросила сыграть ей что-нибудь Бетховена. Не сказав никакого слова, музыкант доиграл мазурку до конца и лишь затем начал Бетховена. Москва стояла против скрипача по-бабьи, расставив ноги и пригорюнившись лицом от тоски, волнуемой вблизи ее сердца. Весь мир вокруг нее вдруг стал резким и непримиримым, — одни твердые тяжкие предметы составляли его и грубая темная сила действовала с такой злобой, что сама приходила в отчаяние и плакала человеческим, истощенным голосом на краю собственного безмолвия. И снова эта сила вставала со своего железного поприща и громила со скоростью вопля какого-то своего холодного, казенного врага, занявшего своим туловищем всю бесконечность. Однако эта музыка, теряя всякую мелодию и переходя в скрежещущий вопль наступления, все же имела ритм обыкновенного человеческого сердца и была проста, как непосильный труд из жизненной нужды.

Музыкант глядел на Москву равнодушно и без внимания, не привлекаемый никакой ее прелестью, — как артист, он всегда чувствовал в своей душе еще более лучшую и мужественную прелесть, тянущую волю вперед мимо обычного наслаждения, и предпочитал ее всему видимому. Под конец игры из глаз скрипача вышли слезы, — он истомился жить, и, главное, он прожил себя не по музыке, он не нашел своей ранней гибели под стеной несокрушимого врага, а стоит теперь живым и старым бедняком на безлюдном дворе жакта, с изможденным умом, в котором низко стелется последнее воображение о героическом мире. Против него — по ту сторону забора — строили медицинский институт для поисков долговечности и бессмертия, но старый музыкант не мог понять, что эта постройка продолжает музыку Бетховена, а Москва Честнова не знала, что там строится. Всякая музыка, если она была велика и человечна, напоминала Москве о пролетариате, о темном человеке с горящим факелом, бежавшем в ночь революции и о ней самой, и она слушала ее как речь вождя и собственное слово, которое она всегда подразумевает, но никогда вслух не говорит.

На входной двери висела фанерная табличка с надписью: «Правление жакта и домоуправление». Честнова вошла туда, чтобы узнать номер квартиры вневойсковика, — он указал в учетном бланке один номер дома.

До канцелярии жакта шел деревянный коридор, по обе стороны его жили вероятно многодетные семьи — там сейчас с обидой и недовольством кричали дети, деля пищу на ужин между собой. Внутри деревянного коридора стояли жильцы и беседовали на все темы, какие есть на свете, — о продовольствии, ремонте дворовой уборной, о будущей войне, о стратосфере и смерти местной, глухой и безумной прачки. На стенах коридора висели плакаты Мопра, Управления сберкасс, правила ухода за грудным ребенком, человек в виде буквы «Я», сокращенный на одну ногу уличной катастрофой, и прочие картины жизни, пользы и бедствий. Многие люди приходили сюда, в деревянный коридор домоуправления, часов с пяти вечера, сразу после работы, и простаивали на ногах, размышляя и беседуя, вплоть до полуночи, лишь изредка нуждаясь в какой-либо справке домоуправления. Москве Честновой было удивительно узнать это; она не могла понять, почему люди жались к жакту, к конторе, к справкам, к местным нуждам небольшого счастья, к самоистощению в пустяках, когда в городе были мировые театры, а в жизни еще не были разрешены вечные загадки мучения и даже у наружной двери играл прекрасную музыку скрипач, не внимаемый никем.

Пожилой управдом, работавший в шуме людей — среди дыма и разных вопросов, — дал Честновой точную справку о всем вневойсковике: он жил в коридорной системе второго этажа, в комнате номер 4, пенсионер третьего разряда, общественный актив жакта много раз ходил к нему — уговаривать насчет необходимости своевременного переучета и оформления своего военного положения, но вневойсковик уже несколько лет обещал это сделать, собираясь с завтрашнего утра посвятить весь день на формальные нужды, но до сих пор не выполнил своего обещания по бессмысленной причине; с полгода назад сам управдом посетил вневойсковика на этот предмет, увещевал его три часа, сравнивал его состояние с тоскою, скукой и телесной нечистоплотностью, как если бы он не чистил зубы, не мылся и вообще наносил сам себе позор, с целью критики советского человека.

— Не знаю, что и делать с ним, — сказал управдом. — Один такой во всем жакте.
— А чем он занимается вообще? — спросила Москва.
— Я же тебе сказал: пенсионер третьей категории, сорок пять рублей получает. Ну, он еще в осодмиле состоит, пойдет постоит на трамвайной остановке, поштрафует публику и опять на квартиру вернется...

Москве стало грустно от жизни такого человека и она сказала:

— Как нехорошо все это!..

Управдом вполне согласился с нею:

— Хорошего в нем нету!.. Летом он часто в парк культуры ходил, но тоже — зря. Ни оркестра не послушает, ни мимо зрелищ не погуляет, а как придет, так сядет около отделения милиции и просидит там целый день — то разговаривает понемногу, то ему поручение какое-нибудь дадут: он сделает пойдет, — любит он административную работу, хороший осодмилец...

— Он женатый? — спросила Москва.

— Нет, он неопределенный... Формально холост, но все ночи проводит молча с женщинами, уж сколько лет подряд. Это его принципиальное дело, жакт тут стоит в стороне... Но вот что — женщины к нему являются некультурные, неинтересные, такая как вы — первая. Не советую — убогий человек...

Москва ушла из правления дома. По-прежнему стоял музыкант у входа, но ничего не играл, а сам что-то слушал молча из ночи. Далекое зарево трепетало над центром города, волнуясь в бегущих тучах, и огромное загроможденное мраком небо открывалось вдруг мгновенным и острым светом, сверкнувшим из-под трамвайного провода. В близком клубе местного транспорта пел хор молодых работниц, увлекая силой вдохновения собственную жизнь в далекие края будущего. Честнова пошла в тот клуб и пела там и танцевала, пока распорядитель, заботясь об отдыхе молодежи, не потушил свет. Тогда Москва уснула где-то за кулисами сцены на фанерной бутафории, обняв по девической привычке временную подругу, такую же усталую и счастливую, какой была сама.

5

Небрежный и нечистоплотный от экономии своего времени, Самбикин чувствовал мировую внешнюю материю как раздражение собственной кожи. Он следил за всемирным развитием событий день и ночь, и ум его жил в страхе своей ответственности за всю безумную судьбу вещества.

По ночам Самбикин долго не мог заснуть от воображения труда на советской земле, освещенного сейчас электричеством. Он видел сооружения, густо оснащенные тесом, где ходили неспящие люди, укрепляя молодые доски из свежего леса, чтобы самим держаться на высоте, где дует ветер и видно, как идет ночь по краю мира в виде остатка вечерней зари. Самбикин сжимал свои руки от нетерпения и радости, а потом вдруг задумывался во мраке, забывая моргать по полчаса. Он знал, что тысячи юношей-инженеров, сдавших свою смену, сейчас тоже не спят, а ворочаются в беспокойстве в общежитиях и в новых домах — по всей равнине страны, а иные, только улегшись на отдых, уже бормочут и постепенно одеваются обратно, чтобы уйти опять на постройку, потому что их ум начала мучить одна забытая днем деталь, грозящая ночной аварией.

Самбикин вставал с кровати, зажигал свет и ходил в волнении, желая предпринять что-либо немедленно. Он включал радио и слышал, что музыка уже не играет, но пространство гудит в своей тревоге, будто безлюдная дорога, по которой хотелось уйти. Тогда Самбикин звонил в институтскую клинику и спрашивал — есть ли сейчас срочные операции, он будет ассистировать. Ему отвечали, что есть: привезли ребенка с опухолью на голове, которая растет с ежеминутной скоростью, и мальчик темнеет сознанием.

Самбикин выбегал на московскую улицу; трамваи уже не ходили, по асфальтовым тротуарам звучно стучали высокие каблукы женщин, возвращавшихся домой из театров или

лабораторий, или от любимых ими людей. Самбикин, действуя своими длинными ногами, быстро добегал до бауманского района, где строился медицинский экспериментальный институт специального назначения. Институт не был еще окончательно оборудован и сейчас в нем работали только два отделения — хирургии и травматическое. Двор института был заложен трубами, досками, вагонетками и ящиками с научным инвентарем; забор детского масштаба, отделявший строительство от какого-то жилищного дома, накренился и вовсе поник.

На этом дворе Самбикин услышал вдруг жалкую музыку, тронувшую его сердце не столько мелодией, сколько неясным воспоминанием чего-то прожитого, оставленного в забвении. Он заслушался на минуту; музыка играла по ту сторону бедного забора. Самбикин влез на забор и увидел постаревшего лысого скрипача, игравшего в безлюдьи, в два часа ночи. Самбикин прочел вывеску над входной дверью дома, у которого играл музыкант: «Правление жакта и домоуправление». Самбикин достал рубль и хотел дать его музыканту за работу, но скрипач отказался. Он сказал, что сейчас играет для себя, потому что ему тоскливо и он может спать только на утренней заре, а до нее еще далеко...

Около малой операционной залы уже висели два мягких баллона с кислородом и стояла старшая дежурная сестра. В конце коридора, в отдельной комнате-боксе, вплоть застекленной по стороне, обращенной в коридор, больного ребенка готовили к операции — ему быстро брили голову две сестры. За левым ухом у мальчика, заняв полголовы, вырос шар, наполненный горячим бурым гноем и кровью, и этот шар походил на вторую дикую голову ребенка, сосущую его изнемогающую жизнь. Ребенок сидел на кровати и не спал: ему было лет семь. Он смотрел опустевшими, уснувшими глазами и немного поднимал руки в воздух, когда его сердце заходило от боли, мучаясь и не ожидая пощады.

В живом сознании Самбикина с точным ощущением встала болезнь ребенка, и он потерял себя за ухом, ища шаровидную опухоль, — вторую безумную голову, в которой сжимается смертный гной. Он пошел готовиться к операции.

Переодеваясь и думая, он слышал шум в своем левом ухе, — это гной в голове ребенка химически размывал и разъедал последнюю костяную пластину, защищавшую его мозг; в уме мальчика сейчас уже стелется туманная смерть, жизнь держится еще под защитой костяной пленки, но в ней осталось толщины не более доли миллиметра и слабеющая кость вибрирует под напряжением гноя.

— Что он видит сейчас в своем сознании? — спрашивал сам у себя Самбикин про больного. — Он видит сны, берегущие его от ужаса... Он видит двух своих матерей, моющих его в ванне, а это две сестры бреют его волосы. И он одного только боится: почему две матери?.. Он видит любимую кошку, которая живет с ним дома в комнате, и эта кошка впиалась ему сейчас в голову...

Пришел старый хирург-оператор, которому должен помогать Самбикин. Старик был готов и приглашал своего ассистента. Вести операцию самостоятельно Самбикину еще не давали: ему было двадцать семь лет и хирургический стаж его продолжался всего второй год. Все звуки в хирургическом институте тщательно уничтожались и сигнализация совершалась цветным светом. В комнате дежурного врача зажглись три лампы разных цветов — и вслед за тем почти бесшумно были совершены несколько действий: по пробковому ковру коридора проехала низкая тележка на резиновых колесах и отвезла больного в операционную залу; электромонтер переключил электрический свет на питание из институтской аккумуляторной батареи, чтобы свет не зависел от случайностей городской сети, и пустил в ход аппарат, нагнетающий озонированный воздух в операционную; дверь операционной залы беззвучно открылась и в лицо ребенка подул прохладный и благоуханный ветер из специального прибора — мальчик получил усыпление и улыбнулся, освобожденный от последних следов страдания.

— Мама, я очень сильно заболел, меня сейчас резать будут, но мне ничуть не больно! — сказал он и стал беспомощным и чуждым самому себе. Жизнь словно отлучилась из него самого и сосредоточилась в отдаленном и грустном воображении снов; он видел предметы, всю сумму своих впечатлений, — и эти предметы мчались мимо него и он узнавал их — вот забытый

гвоздь, который он держал в руках давно, гвоздь теперь заржавел, стал старым, вот черная маленькая собака, с ней он играл когда-то на дворе — она лежит мертвая в мусоре, с разбитой стеклянной банкой на голове, вот железная крыша на низком сарае, он влезал на нее, чтобы смотреть с высоты, она пустая сейчас и железо скучает по нем, а его долго нет; стоит лето, тень матери лежит на земле, идет милиция, но ее оркестр играет неслышно...

Старый хирург предложил Самбикину вести операцию, а он будет ассистировать.

— Начнем! — сказал старик в светлой глуши залы.

Самбикин взял резкий, блестящий инструмент и вошел им в существо всякого дела — в тело человека. Острая, мгновенная стрела вышла позади глаз из ума мальчика, пробежала по его телу — он следил за ней воображением — и ударила ему в сердце: мальчик вздрогнул, все предметы, знавшие его, заплакали по нем, и сон его воспоминаний исчез. Жизнь сошла еще ниже, она тлела простой, темной теплотой в своем терпеливом ожидании. Самбикин чувствовал своими руками, как греется все более тело ребенка, и спешил. Он спускал гной из разверстых покровов головы и проникал в кость, — он искал первичные очаги заражения.

— Тише, медленнее! — говорил старый хирург. — Скажите пульс! — обратился он к старшей сестре.

— Аритмия, доктор, — сказала сестра. Иногда не слышно вовсе.

— Ничего, инерция сердца всегда велика — выправится.

— Держите ему голову! — указал Самбикин сестрам. Он приступил к выборке костных участков в порах которых таился гной.

Инструмент звенел, как при холодной металлообработке, Самбикин шел в ударах на ощупь — глубже или мельче — на точном чувстве искусства; большие глаза его остекленели без влаги — ему некогда было моргать, — бледные щеки стали смуглыми от силы крови, пришедшей ему на помощь из глубины его сердца. Извлекая костяные секции, Самбикин глядел в них в свете рефлектора, нюхал, сжимал для лучшего ознакомления и передавал старшему хирургу; тот равнодушно бросал их в посуду.

Мозг приближался; выкалывая кости из черепа, Самбикин исследовал их теперь под микроскопом и все еще находил в них гнезда стрептококков. В некоторых местах головы ребенка Самбикин дошел уже до последней костной пластинки, ограждающей мозг, и зачистил ее по поверхности от смертного серого налета. Его руки действовали так, как будто они сами думали и считали каждый допуск движения. По мере удаления стрептококков, их становилось меньше, но Самбикин переходил на сильнейшие микроскопы, которые показывали, что число гноеродных телец, быстро убывая, целиком все же не исчезает. Он вспомнил знаменитое математическое уравнение, выражающее распределение теплоты по пруту бесконечной длины, и прекратил операцию.

— Тампонировать и бинтовать! — приказал он, ибо, чтобы совершенно уничтожить стрептококков, надо было искрошить не только всю голову больного, но и все его тело до ногтей на пальцах ног.

Самбикину было ясно, что разверстое, с тысячами рассеченных сосущих кровеносных сосудов, горячее, незащитное тело больного жадно вбирало в себя стрептококков отовсюду — из воздуха, а особенно — из инструмента, который стерилизовать начисто невозможно. Нужно было дано перейти на электрическую хирургию — входить в тело и кости чистым и мгновенным, синим пламенем вольтовой дуги — тогда все, что носит смерть, само будет убито и новые стрептококки, проникнув в раны, найдут в них сожженную пустыню, а не питательную среду.

— Кончено! — сказал Самбикин.

Сестры уже перевязывали голову больного. Они повернули его лицом к врачам.

Тепло жизни, пробиваясь изнутри, розовыми полосами шло по бледному лицу ребенка и быстро размывалось прочь; затем оно возникало снова и опять стусывалось. Глаза его были почти открыты и высохли настолько, что региновое вещество немного сморщилось от сухости.

— Он мертвый! — сказал старый врач.

— Нет еще, — ответил Самбикин и поцеловал ребенка в увядшие губы. — Он будет жить. Дайте ему немного кислорода. Пить не давать до утра.

По выходе из клиники Самбикин встретил трясущуюся, судорожную женщину — мать ребенка. Ее не пускали по правилам и за поздней ночью. Самбикин поклонился ей и велел пропустить ее к сыну.

Загоралось утро. Самбикин посмотрел через забор на соседний жакт, все пусто было, скрипач ушел спать. Из двери вышел человек скромной наружности со сморщенной, изношенной годами и трудностью женщиной. Спутник ей убедительно признавался в любви; Самбикин нечаянно заслушался его голоса — в этом голосе звучала темная грудная грусть и это делало его трогательным, хотя человек говорил пошлость и глупость.

— А война будет, ты бросишь меня, — робко возражала женщина.

— Я? Нет, нисколько! Я последняя категория, я вневойсковик, почти ничто... Пойдем за сарай ляжем положим, душа опять болит.

— Иль ты в комнате не долюбил меня? — счастливо удивилась женщина.

— Маленько — нет, — сказал вневойсковой любовник. — Сердце еще болит, не остыло.

— Ишь, хамлет какой! — улыбнулась женщина. — И здоровья ему не жалко!

Она была горда сейчас, что нравится и увлекает мужчин. Вневойсковик сжался от утренней прохлады в своем истертом, усталом пальто и поспешил под руку с женщиной, видимо, желая как можно скорее отделаться от всего...

Самбикин шел по Москве. Ему странно и даже печально было видеть пустые трамвайные остановки, безлюдные черные номера маршрутов на белых таблицах, — они вместе с трамвайными мачтами, тротуарами и электрическими часами на площади тосковали по многолюдству.

Самбикин задумался, по своему обыкновению, над жизнью вещества — над самим собой; он относился сам к себе как к подопытному животному, как к части мира, доставшейся ему для исследования всего целого и неясного.

Он думал всегда и непрерывно, его душа сейчас же заболела, если Самбикин останавливался мыслить, и он снова работал над воображением мира в голове, ради его преобразования. Ночью ему снились его разрушенные мысли, а он тщетно шевелился в постели, сиюсь вспомнить их дневной порядок, затем мучился и просыпался, радуясь утреннему свету и восстановленной ясности ума. Его длинное, усохшее тело, длинное и большое, всегда шумно жило и дышало, точно этот человек был алчный — постоянно хотел есть и пить, и громадное лицо имело вид опечаленного животного, только нос его был настолько велик и чужд даже громадному лицу, что сообщал кротость всему выражению характера.

Домой Самбикин пришел уже в светлое время, когда летнее великое утро горело над землей так мощно, что Самбикину казалось — свет гремит. Он позвонил в институт, ему сказали — оперированный ребенок хорошо спит, температура снижается, мать его снова уснула на другой кровати. Передумав все о сегодняшней операции и все очередные проблемы, Самбикин почувствовал свое тоскующее, опустевшее сердце — ему надо было опять действовать, чтобы приобрести задачу для размышления и угомонить неясный и алчущий, совестливый вопль в душе. Спал он мало, и лучше всего после большой работы, тогда и сны в благодарность оставляли его. Нынче он действовал недостаточно, разум в голове не мог устать и хотел еще работать, отвергая сон. Пометавшись беспомощно по комнате, Самбикин пошел в ванну, разделся там и с удивлением оглядел свое тело юноши, затем пробормотал что-то и залез в холодную воду. Вода умиротворила его, но он тут же понял, насколько человек еще самодельное, немощно устроенное существо — не более как смутный зародыш и проект чего-то более действительного, и сколько надо еще работать, чтобы развернуть из этого зародыша летящий, высший образ, погребенный в нашей мечте...

Вечером в районном клубе комсомола собрались молодые ученые, инженеры, летчики, врачи, педагоги, артисты, музыканты и рабочие новых заводов. Никому не было более двадцати семи лет, но каждый уже стал известен по всей своей родине — в новом мире, и каждому было немного стыдно от ранней славы, и это мешало жить. Пожилые работники клуба, упустившие свою жизнь и талант в неудачное буржуазное время, с тайными вздохами внутреннего оскудения привели в порядок мебельное убранство в двух залах — в одном для заседания, в другом для беседы и угощения.

Одним из первых пришел двадцатичетырехлетний инженер Селин с комсомолкой Кузьминой, пианисткой, постоянно задумчивой от воображения музыки.

— Пойдем жевнем чего-нибудь! — сказал ей Селин.

— Жевнем, — согласилась Кузьмина.

Они пошли в буфет; там Селин, розовый мощный едок, съел сразу восемь бутербродов с колбасой, а Кузьмина взяла себе только два пирожных; она жила для игры, а не для пищеварения.

— Селин, почему ты ешь так много? — спросила Кузьмина. — Это может хорошо, но на тебя стыдно смотреть!

Селин ел с негодованием, он жевал как пахал — с настойчивым трудом, с усердием в своих обоих надежных челюстях.

Вскоре пришли сразу десять человек: путешественник Головач, механик Семен Сарториус, две девушки подруги — обе гидравлики, композитор Левченко, астроном Сицылин, метеоролог авиаслужбы Вечкин, конструктор сверхвысотных самолетов Мульдбауэр, электротехник Гунькин с женой, — но за ними опять послышались люди и еще пришли некоторые. Все уже были знакомы между собой — по работе, по встречам и по разным сведениям.

Пока не началось заседание, каждый предался своему удовольствию — кто дружбе, кто пище, кто вопросам на нерешенные задачи, кто музыке и танцам. Кузьмина нашла небольшую комнату с новым роялем и с наслаждением играла там девятую симфонию Бетховена — все части, одна за другой, по памяти. У нее сжималось сердце от глубокой свободы и воодушевленной мысли этой музыки и от эгоистической грусти, что она сама так сочинять не умеет. Электротехник Гунькин слушал Кузьмину и думал о высокой частоте электричества, простреливающей вселенную насквозь, о пустоте высокого грозного мира, всасывающего в себя человеческое сознание... Мульдбауэр видел в музыке изображение дальних легких стран воздуха, где находится черное небо и среди него висит немерцающее солнце с мертвым накалом своего света, где — вдалеке от теплой и смутно-зеленой земли — начинается настоящий серьезный космос: немое пространство, изредка горящее сигналами звезд — о том, что путь давно свободен и открыт... Скорее же покончить с тяжелой возней на земле и пусть тот же старый Сталин направит скорость и напор человеческой истории за черту тяготения земли — для великого воспитания разума в мужестве давно предназначенного ему действия.

Немного спустя сюда же пришла Москва Честнова и молча улыбалась от радости видеть своих товарищей и слышать музыку, возбуждающую ее жизнь на исполнение высшей судьбы.

Позже всех в клуб явился хирург Самбикин; он только что был в институтской клинике и сам делал перевязку оперированному им мальчику. Он пришел подавленный скорбью устройства человеческого тела, сжимающего в своих костях гораздо более страдания и смерти, чем жизни и движения. И странно было Самбикину чувствовать себя хорошо — в напряжении своей заботы и ответственности. Весь его ум был наполнен мыслью, сердце билось покойно и верно, он не нуждался в лучшем счастье, — и в то же время ему становилось стыдно от сознания этого своего тайного наслаждения... Он хотел уже уйти из клуба, чтобы поработать ночью в институте над своим исследованием о смерти, но вдруг увидел проходящую Москву Честнову. Неясная прелесть ее наружности удивила Самбикина; он увидел силу и светящееся

воодушевление, скрытые за скромностью и даже робостью лица. Раздался звонок к началу заседания. Все пошли из комнаты, где находился Самбикин, одна Честнова задержалась, укрепляя чулок на ноге. Когда она управилась с чулком, то увидела одного Самбикина, глядевшего на нее. От стеснения и неловкости — жить в одном мире, делать одно дело и не быть знакомыми — она поклонилась ему. Самбикин подошел к ней и они отправились вместе слушать заседание.

Они сели рядом и среди речей, славы и приветствий Самбикин ясно слышал пульсацию сердца в груди у Москвы.

Он спросил ее шепотом в ухо:

— Отчего у вас сердце так стучит? Я его слышу!

— Оно летать хочет, и бьется, — с улыбкой прошептала Москва Самбикину. — Я ведь парашютистка!

«Человеческое тело летало в каких-то погибших тысячелетиях назад, — подумал Самбикин. — Грудная клетка человека представляет свернутые крылья».

Он попробовал свою нагретую голову — там тоже что-то билось, желая улететь из темной одинокой тесноты.

После собрания наступило время общего ужина и развлечений. Молодые гости разошлись по многим помещениям, прежде чем сесть к общему столу.

Механик Сарториус пригласил Москву Честнову танцевать и она пошла кружиться с ним, с любопытством разглядывая великое круглое лицо знаменитого изобретателя в области точной индустрии, инженера-расчетчика мирового значения. Сарториус держал Москву крепко, танцевал тяжело и робко улыбался, выдавая свое сжатое влечение к Москве. Москва же смотрела на него как влюбленная — она быстро предавалась своему чувству и не играла женскую политику равнодушия. Ей нравился этот неинтересный человек, ростом меньше ее, с добрым и угрюмым лицом, который не вытерпел своего сердца и пошел на крайнюю для себя смелость — приблизился к женщине и пригласил ее танцевать. Но вскоре это, наверно, ему наскучило, руки его уже привыкли к теплоте тела Москвы, горячего под легким платьем, и он начал что-то бормотать. Москва же, услышав такое, сразу обиделась:

— Сам меня обнимает, сам со мной танцует, а думает совсем другое! — сказала она.

— Это я так, — ответил Сарториус.

— Сейчас же скажите, что — так! — нахмурилась Москва и перестала танцевать.

Самбикин ветром пронесся мимо них, — он тоже танцевал, приурочившись к какой-то комсомолке большой миловидности. Москва улыбнулась ему:

— Неужели и вы танцуете? Вот странный какой!

— Надо жить всесторонне! — с хода ответил ей Самбикин.

— А вам охота? — крикнула ему Москва.

— Нет, я притворяюсь! — ответил ей Самбикин. — Это теоритически!

Комсомолка, обидевшись, сейчас же покинула Самбикина, и он засмеялся.

— Ну, говорите скорей! — с надуманной серьезностью обратилась Москва к Сарториусу.

«Неужели она дура? Жалко!» — подумал Сарториус. Здесь к ним подошел метеоролог Вечкин, затем Самбикин, и Сарториус не успел ничего ответить Москве. Встретились они лишь спустя час — за общим ужином.

Большой стол был накрыт для пятидесяти человек. Цветы, казавшиеся задумчивыми от своей красоты, стояли через каждые полметра и от них исходило посмертное благоухание. Жены конструкторов и молодые женщины-инженеры были одеты в лучший шелк республики — правительство украшало лучших людей. Москва Честнова была в чайном платье, весившем всего три-четыре грамма, и сшито оно было настолько искусно, что даже пульс кровеносных сосудов Москвы обозначался волнением ее шелка. Все мужчины, не исключая небрежного Самбикина и обросшего, грустного Вечкина, пришли в костюмах из тонкого матерьяла, простых и драгоценных; одеваться плохо и грязно было бы упреком бедностью к стране, которая питала

и одевала присутствующих своим отборным добром, сама возрастая на силе и давлении этой молодости, на ее труде и таланте.

Небольшой комсомольский оркестр играл на балконе за открытой дверью маленькие пьесы. Пространный воздух ночи входил через дверь балкона в залу и цветы на длинном столе дышали и сильнее пахли, чувствуя себя живыми в потерянной земле. Древний город шумел и озарялся светом, как новостройка, иногда смех и голос прохожего человека доносился сюда в клуб, и Честновой Москве хотелось выйти и пригласить ужинать всех: все равно социализм настает! Ей было по временам так хорошо, что она желала покинуть как-нибудь самое себя, свое тело в платье, и стать другим человеком — женой Гунькина, Самбикиным, вневойсковиком, Сарториусом, колхозницей на Украине...

Люстры завода «Электроприбор» бледной и нежной энергией покрывали людей и богатое убранство; легкая и предварительная закуска стояла на столе, а основной ужин еще грелся вдалеке в кухонных очагах.

Собравшиеся, которые были красивы от природы или от воодушевления и незаконченной молодости, долго устраивались со своими местами, ища лучшего соседства, но в конце концов желая сесть сразу со всеми вблизи.

И вот когда они уселись, тридцать человек, то их внутренние живые средства, возбужденные друг другом, умножились, и среди них и родился общий гений жизненной искренности и счастливого соревнования в умном дружелюбии. Но остро-настроенный такт взаимных отношений, приобретенный в трудной технической культуре, где победа не дается двусмысленной игрой, — этот такт поведения не допускал ни глупости, ни сантиментальности, ни самомнения. Присутствующие знали или догадывались об угрюмых размерах природы, о протяженности истории, о долготе будущего времени и о действительных масштабах собственных сил; они были рациональные практики и неподкупны к пустому обольщению.

Более других была нетерпелива и безумна Москва Честнова. Она выпила, никого не ожидая, стакан вина и покраснела от радости и непривычки. Сарториус заметил это и улыбнулся ей своим неточным широким лицом, похожим на сельскую местность. Его отцовская фамилия была не Сарториус, а Жуйборода, а мать крестьянка выносила его в своих внутренностях рядом с теплым пережеванным ржаным хлебом.

Самбикин также наблюдал за Честновой и думал над нею: любить ему ее или не надо; в общем она была хороша и ничья, но сколько мысли и чувства надо изгнать из своего тела и сердца, чтобы вместить туда привязанность к этой женщине? И все равно Честнова не будет ему верна, и не может она никогда променять весь шум жизни на шепот одного человека.

«Нет, я любить ее не буду и не могу! — навсегда решил Самбикин. — Тем более, придется как-то портить ее тело, а мне жалко, лгать день и ночь, что я прекрасный... Не хочу, трудно!» Он забылся в течении своего размышления, утратив в памяти всех присутствующих. Присутствующие же, хотя и сидели за обильным и вкусным столом, но ели мало и понемногу, они жалели дорогую пищу, добытую колхозниками трудом и терпением, в бедствиях борьбы с природой и классовым врагом. Одна Москва Честнова забылась и ела и пила, как хищница. Она говорила разную глупость, разыгрывала Сарториуса и чувствовала стыд, пробирающийся к ней в сердце из ее лгущего, пошлого ума, грустно сознающего свое постыдное пространство. Никто не обидел Честнову и не остановил ее, пока она не изошла своею силою и не замолчала сама. Самбикин знал, что глупость — это естественное выражение блуждающего чувства, еще не нашедшего своей цели и страсти, а Сарториус наслаждался Москвой независимо от ее поведения; он уже полюбил ее как живую истину и сквозь свою радость видел ее неясно и неверно.

Во время шума людей и уже позднего вечера в залу незаметно вошел Виктор Васильевич Божко и сел у стены на диване, не желая быть замеченным. Он увидел красную, веселую Москву Честнову, и вздрогнул от боязни ее. К ней подошел какой-то ученый молодой человек и запел над нею:

Ты ходишь пьяная,
Ты вся уж бледная,
Такая милая
Подруга верная...

Москва, услышав это, закрыла лицо руками и неизвестно — заплакала или застыдилась себя. Сарториус в тот момент спорил с Вечкиным и Мульдбауэром; Сарториус доказывал, что после классового человека на земле будет жить проникновенное техническое существо, практически, работой ощущающее весь мир... Древние люди, начавшие историю, тоже были техническими существами; греческие города, порты, лабиринты, даже гора Олимп — были сооружены циклопами, одноглазыми рабочими, у которых древними аристократами было выдвинуто по одному зрачку — в знак того, что это — пролетариат, осужденный строить страны, жилища богов и корабли морей, и что одноглазым нет спасения. Прошло три или четыре тысячи лет, сто поколений, и потомки циклопов вышли из тьмы исторического лабиринта на свет природы, они удержали за собой одну шестую часть земли, и вся остальная земля живет лишь в ожидании их. Даже бог Зевс, вероятно, был последний циклоп, работавший по насыпке олимпийского холма, живший в хижине наверху и уцелевший в памяти античного аристократического племени; буржуазия тех ветхих времен не была глупой — она переводила умерших великих рабочих в разряд богов, ибо она в тайне удивлялась, не в силах понять творчества без наслаждения, что погибшие молчаливо обладали высшей властью — трудоспособностью и душой труда — техникой.

Сарториус встал на ноги и взял чашку с вином. Короткого роста, с обыкновенным согретым жизнью лицом, увеличенным мысленным воображением, он был счастлив и привлекателен. Честнова Москва загляделась на него и решила когда-нибудь поцеловаться с ним. Он произнес среди своих замолкших товарищей:

— Давайте выпьем за безымянных циклопов, за воспоминанье всех погибших наших измученных отцов и за технику — истинную душу человека!

Все сразу выпили, а музыканты заиграли старую песнь на стихи Языкова:

Там за валом непогоды
Есть блаженная страна,
Где не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.

Божко сидел покорно и незаметно, он радовался больше участников вечера, он знал, что непогода проходит и блаженная страна лежит за окном, освещенная звездами и электричеством. Он скуп и молчаливо любил эту страну и поднимал каждую крошку, падающую из ее добра, чтоб страна уцелела полностью.

Подали обильный ужин. Его бережно начали отведывать, но Семен Сарториус уже не мог ни есть, ни пить ничего. Мученье любви к Честновой Москве сразу занялось во всем его теле и сердце, так что он открыл рот и усиленно дышал, как будто ему стало неудобно в груди. Москва издали и загадочно улыбалась ему, ее таинственная жизнь доходила до Сарториуса теплом и тревогой, а зоркие глаза ее глядели на него невнимательно, как на рядовой факт. «Эх, физика сволочь! — понимал Сарториус свое положение. — Ну вот что мне теперь делать, кроме глупости и личного счастья!»

Городская ночь светилась в наружной тьме, поддерживаемая напряжением далеких машин; возбужденный воздух, согретый миллионами людей, тоской проникал в сердце Сарториуса. Он вышел на балкон, поглядел на звезды и прошептал старые слова, усвоенные понаслышке: «Боже мой!» Самбикин по-прежнему сидел за столом, не трогая пищи; он был увлечен своим

размышлением дальше завтрашнего утра и смутно, как в тумане над морем, разглядывал будущее бессмертие. Он хотел добыть долгую силу жизни или, быть может, ее вечность из трупов павших существ. Несколько лет назад, роясь в мертвых телах людей, он снял тонкие срезы с сердца, с мозга и железы половой секреции. Самбикин изучил их под микроскопом и заметил на срезах какие-то ослабевшие следы неизвестного вещества. Позже, испытывая эти почти погасшие следы на химическую реакцию, на электропроводность, на действие света, он открыл, что неизвестное вещество обладает едкой энергией жизни, но бывает оно только внутри мертвых, в живых его нет, в живых накапливаются пятна смерти — задолго до гибели. Самбикин озадачился тогда на целые годы и сейчас озадаченность его еще не прошла: труп, оказывается, есть резервуар наиболее напорной, резкой жизни, хотя и на краткое время. Исследуя точнее, размышляя почти непрерывно, Самбикин начинал соображать, что в момент смерти в теле человека открывается какой-то тайный шлюз и оттуда разливается по организму особая влага, ядовитая для смертного гноя, смывающая прах утомления, бережно хранимая всю жизнь, вплоть до высшей опасности. Но где тот шлюз в темноте, в тесных ущельях человека, который скуп и верно держит последний заряд жизни? Только смерть, когда она несется по телу, срывает ту печать с запасной, сжатой жизни и она раздается в последний раз, как безуспешный выстрел внутри человека и оставляет неясные следы на его мертвом сердце... Свежий труп весь пронизан следами тайного замершего вещества и каждая часть мертвеца хранит в себе творящую силу для уцелевших жить. Самбикин предполагал превратить мертвых в силу, питающую долголетие и здоровье живых. Он понимал девственность и могущество той младенческой влаги, которая омывает внутренность человека в момент его последнего дыхания; эта влага, добавленная в живого, но поникшего человека, способна его сделать прямым, твердым и счастливым...

Он стоял долго; все теперь было для него решенным и посторонним. Чужие люди ехали на трамвае по улице и звуки движения и разговорная речь доносились до слуха Сарториуса точно издалека; он слушал их без интереса и любопытства, как больной и одинокий. Он захотел сейчас же уйти домой, лечь под одеяло и согреть свою внезапную боль до того, чтоб она отошла к утру, когда снова придется идти [на работу]*.

За его спиной наслаждались его сверстники сознанием своего успеха и будущей технической мечтой. Мульдбауэр говорил о слое атмосферы на высоте где-то между пятьюдесятью и стами километров; там существуют такие электромагнитные, световые и температурные условия, что любой живой организм не устанет и не умрет, но будет способен к вечному существованию среди фиолетового пространства. Это было «Небо» древних людей и счастливая страна будущих: за далью близко стелющейся непогоды действительно находится блаженная страна. Мульдбауэр предсказывал близкое завоевание стратосферы и дальнейшее проникновение в синюю высоту мира, где лежит воздушная страна бессмертия; тогда человек будет крылатым, а земля останется в наследство животным и вновь, навсегда зарастет джунглями своей ветхой девственности. «И животные это предчувствуют! — убежденно говорил Мульдбауэр. — Когда я гляжу им в глаза, мне кажется — они думают: когда же это кончится, когда же вы оставите нас! Животные думают: когда же люди оставят их одних для своей судьбы!»

Сарториус скудно улыбнулся; он хотел бы сейчас остаться в самом низу земли, поместиться хотя бы в пустой могиле и неразлучно с Москвой Честновой прожить жизнь до смерти. Однако ему жалко было оставить без своего ответа эти ночные звезды, с детства глядящие на него, быть безучастным к всеобщей жизни, наполненной трудом и чувством сближения между людьми, он боялся идти по городу безмолвным, склонив голову, с сосредоточенной одинокой мыслью любви и не желал стать равнодушным к своему столу, набитому идеями в чертежах, к своей железной пролежанной койке, к настольной лампе, его терпеливому свидетелю во тьме и тишине рабочих ночей... Сарториус гладил свою грудь под сорочкой и говорил себе: «Уйди, оставь меня опять одного, скверная стихия! Я простой инженер и рационалист, я отвергаю тебя, как женщину и любовь... Лучше я буду преклоняться перед атомной пылью и перед

* автор вычеркнул из предложения эти слова.

электроном!» Но мир, стелющийся перед его глазами огнем и шумом, уже замирал в своих звуках, заходил за темный порог его сердца и оставлял после себя живым лишь единственное, самое трогательное существо на свете. Неужели он откажется от него, чтобы поклониться атому, пылинке и праху?

Москва Честнова вышла к Сарториусу на балкон. Она ему сказала с улыбкой:

— Почему вы такой печальный... Вы меня любите или нет?

Она дышала на него теплотой улыбающегося рта, платье ее шелестело, — скука зла и мужества охватила Сарториуса. Он ответил ей:

— Нет. Я люблюсь другою Москвой — городом.

— Ну тогда ничего, — охотно примирилась Честнова. — Пойдемте ужинать. Там ест больше всех товарищ Селин... Весь объелся, сидит красный, а глаза все время печальные. Не знаете почему?

— Нет, — тихо ответил Сарториус. — Я сам тоже печальный.

Москва пригляделась во тьме к его несоразмерному лицу, по нему шли слезы при открытых глазах.

— Лучше не плачьте, — сказала Москва. — Я тоже вас люблю...

— Вы врете, — не поверил Сарториус.

— Нет, правда, — совершенно верно! — воскликнула Честнова. — Пойдемте отсюда поскорей...

Когда они проходили под руку среди торжествующих друзей, Самбикин посмотрел на них своими глазами, забывшими моргать и отвлеченными размышлением в далекую сторону от личного счастья. У выхода перед грудью Москвы очутился Божко и с уважением произнес свою терпеливую просьбу. Честнова настолько обрадовалась ему, что схватила со стола кусок торта и сразу угостила Божко.

Виктор Васильевич служил теперь в тресте несоизмерительной промышленности и был увлечен всецело заботой о гирях и весах. Он попросил Москву Ивановну познакомить его с таким знаменитым инженером, который мог бы изобрести простые и точные весы, чтоб их можно было сделать за дешевую цену для всех колхозов и совхозов и для всей советской торговли. Божко здесь же сообщил, не видя грусти Сарториуса, о великих и незаметных бедствиях народного хозяйства, о дополнительных трудностях социализма в колхозах, о снижении трудодней, о кулацкой политике, развертывающейся на основе неточности гирь, весов и безменов, о массовом, хотя и невольном, обмане рабочего потребителя в кооперации и распределителях... И все это происходит лишь благодаря ветхости государственного весового парка, устарелой конструкции весов и недостатку металла и дерева для постройки новых весовых машин.

— Вы меня извините, что я пришел сюда невольно, — говорил Божко. — Я понимаю, что я скучный. Здесь говорили, а я слышал, как человек скоро будет летающим и счастливым. Я это буду слушать всегда и с удовольствием, но нам нужно пока немного... Нам нужно хлеб и крупу вешать в колхозах с правильностью.

Москва улыбнулась ему с кротостью своего преходящего нрава:

— Вы прекрасный, советский наш человек!.. Сарториус, ступайте завтра же в ихний трест, сделайте им чертеж самых дешевых, самых простых весов — и чтоб правильные были!

Сарториус задумался.

— Это трудно, — сознался он. — Легче усовершенствовать паровоз, чем весы. Весы работают уже тысячи лет... Это все равно, что изобрести новое ведро для воды. Но я приду в ваш трест и помогу, если сумею.

Божко дал адрес своего учреждения и ушел со счастьем в свою комнату, где его ожидал обычный труд по всемирной корреспонденции.

Они приехали за город почти с последним трамваем и назад не могли возвратиться. Далекое электрическое зарево небосклон отражал обратно на землю и самый бедный свет доходил до здешней ржаной нивы и лежал на ее колосьях как ранняя, неверная заря. Но была еще поздняя ночь.

Честнова Москва сняла туфли и пошла босиком по полевой мякоти. Сарториус со страхом и радостью следил за ней; чтобы она ни делала сейчас, все ему приносило в сердце содрогание и он пугался развертывающейся в нем тревожной и опасной жизни. Он шел за нею, все время нечаянно отставая, и однообразно думал о ней, но с такой трогательностью, что если бы Москва присела мочиться, Сарториус бы заплакал.

Честнова дала ему понести туфли, он незаметно обнюхал их и даже коснулся языком; теперь Москва Честнова и все, что касалось ее, даже самое нечистое, не вызывало в Сарториусе никакой брезгливости, и на отходы из нее он мог бы глядеть с крайним любопытством, потому что отходы тоже недавно составляли часть прекрасного человека.

— Товарищ Сарториус, что мы будем теперь делать? — спросила Москва. — Ведь ночь еще стоит и скоро ляжет роса...

— Не знаю, — угрюмо ответил Сарториус. — Мне наверное придется любить вас.

— Вот колхоз в лощине спит, — показала Честнова в даль. — Там хлебом сейчас пахнет и ребятишки спят в овинах. А коровы лежат где-нибудь на выгоне и над ними начинается туман рассвета... Как люблю я все это видеть и жить!

Сарториусу же были теперь безразличны все коровы и сопящие во сне ребятишки. Он даже хотел, чтобы земля стала пустынной и Москва бы не отвлекала никуда своего внимания, а целиком сосредоточилась на нем.

Под утро Москва и Сарториус сели в землемерную яму, обросшую теплым буяном, спрятавшемся здесь от культурных полей, как кулак на хуторе.

Сарториус взял Честнову за руку; природа, — все, что потоком мысли шло в уме, что гнало сердце вперед и открывалось перед взором, всегда незнакомо и первоначально — заросшей травой, единственными днями жизни, обширным небом, близкими лицами людей, — теперь эта природа сомкнулась для Сарториуса в одно тело и кончилась на границе ее платья, на конце ее босых ног.

Всю свою юность Сарториус провел в изучении физики и математики; он трудился над расчетом бесконечности как тела, пытаясь найти экономический принцип ее действия. Он хотел открыть в самом течении человеческого сознания мысль, работающую в резонанс природы и отражающую поэтому всю ее истину — хотя бы в силу живой случайности, и эту мысль он надеялся закрепить навеки расчетной формулой. Но он сейчас не сознавал никакой мысли, потому что в голову его вошло сердце и там билось над глазами. Сарториус погладил руку Москвы, твердую и полную, как резервуар скупого, давно сдавленного чувства.

— Семен, ну чего же вы хотите от меня? — покорно спросила Честнова, готовая к добру.

— Я хочу жениться на вас, — сказал Сарториус. — Больше я не знаю, чего хотеть.

Москва задумалась и съела былинку бурьяна молодым алчным ртом.

— И ведь правда, что больше нечего хотеть, когда любишь. А говорят, что это глупо!

— Пусть говорят, — сумрачно произнес Сарториус. — Они только говорят, а сами наверно не любят... А что же делать, когда я без тебя томлюсь!

— А ты обними меня, и я тебя.

Сарториус обнял ее.

— Ну что, тебе легче стало томиться?

— Нет, так же, — ответил Сарториус.

— Тогда нам придется жениться, — согласилась Москва.

Когда невинное, ежедневное утро осветило местные колхозы и окрестности громадного города, Честнова и Сарториус еще находились в землемерной яме. Узнав всю Москву полностью, все тепло, преданность и счастье ее тела, Сарториус с удивлением и ужасом почувствовал, что его любовь не утомилась, а возросла, и он в сущности ничего не достиг, а остался по-прежнему несчастным. Значит, этим путем нельзя было добиться человека и действительно разделить с ним жизнь. Так как же быть? Сарториус ничего не знал.

Москва Честнова лежала навзничь; небо над нею было сначала водяным, потом стало синим и каменным, затем превратилось в золотистое и мерцающее, как будто прорастающее цветами, — взошло солнце за Уралом и приближалось сюда.

Москва выбралась из ямы, обтянула платье на себе, обулась и пошла в город одна. Сарториусу она сказала, что будет его женою впоследствии: пусть он пока работает в тресте весов и гирь, где служит Божко, она найдет его, когда нужно будет.

Беспомощный и ничтожный вылез вслед за нею Сарториус. Он стоял один на рассвете, в пустоте незрелых полей, испачканный и грустный, как уцелевший воин на оконченном побоище.

— Зачем же ты уходишь, Москва? Я ведь люблю тебя еще больше!

Москва обернулась к нему.

— Я не бросаю тебя, Семен. Я же сказала, что вернусь... Я тоже тебя люблю.

— А почему ты уходишь от меня? Иди сюда снова опять.

Честнова стояла в недоумении шагов за десять.

— Мне жалко, Семен...

— Чего тебе жалко?

— Мне жалко чего-то... Сколько я ни живу, а жизнь со мной никак не сбывается, как я хочу.

Москва нахмурилась и стояла в обиде на границе высокой ржи. Солнце блестело на шелке ее платья и на волосах высыхали последние капли утренней влаги, которую она набрала в бурьяне. Легкий ветер дул с прохладных москворецких низин и рожь неясно бормотала опухшими колосьями; свет солнца, как мысль и улыбка, наполнил всю местность, одна лишь Москва была невеселая и красивое платье и тело ее, сделанные из той же светящейся природы, не соответствовали ее печальному лицу. Сарториус снова привел Москву в укромную траву и не мог понять, отчего им обоим стало так скучно.

— Отстань ты от меня! — отодвинулась Москва вдруг от Сарториуса. — Я все делала, в воздухе летала и с мужьями жила — не ты ведь первый, грустный, милый мой!

Честнова отвернулась и легла вниз лицом. Вид ее большого, непонятого тела, согретого под кожей скрытой кровью, заставил Сарториуса обнять Москву и еще раз молчаливо и поспешно истратить вместе с нею часть своей жизни — единственно, что можно сделать, — пусть это будет бедно и не нужно и на самом деле не решает любви, а лишь утомляет человека. Еще не дотерпев объятий Сарториуса до конца, Москва обернула к нему лицо и насмешливо улыбнулась, — она обманывала в чем-то своего любимого человека.

Сарториус встал на ноги таким же, как ничего не было. Это озадачило его самого, а плачущее, влекущее чувство его не получило никакого утешения, — сердце болело по Москве столь же тщетно, словно она умерла или была недостижима.

— Ты наверно не любишь меня! — сказал он, отгадывая тайну.

— Нет, я люблю, ты мне нравишься, — убеждала Москва. — Мне и самой ведь трудно.

Где-то вдаль уже поехали по земле колхозные телеги, была пора идти в город на работу, рассеиваться и покидать друг друга.

Москва сидела на траве в обиде, а Сарториус примирился со своей любовью к ней; достаточно будет жить с Москвою в браке, любоваться ею, может быть — родить детей, и боль чувства впоследствии утихнет, сердце изотрется и замрет навсегда ради спокойной и плодотворной деятельности ума.

— Я видела в детстве, — сообщила Москва, — как ночью бежал человек по улице с огнем на палке, с факелом. Он бежал к людям в тюрьму поджигать ее...

— Много было такое, — произнес Сарториус.

— Мне его жалко все время, его убили потом.

— Что ж такого! — удивился Сарториус. — Мертвых много лежит в земле, и наверно никогда не будет такого сердца, которое вспомнит сразу всех мертвых и заплачет о них. Это ни к чему.

Москва затихла на некоторое время, она глядела на все, как больная, померкшими глазами.

— Семен... Знаешь что: ты лучше разлюби меня... Я ведь уж многих любила, а ты меня — первую. Ты — девушка, а я женщина!

Сарториус молчал. Москва обняла его одной рукой.

— Верно, Семен: разлюби! Ты знаешь, сколько я думала и чувствовала? Ужасно! И не вышло ничего.

— Что не вышло? — спросил Сарториус.

— Жизни не вышло. Я боюсь, что она никогда не выйдет и я теперь спешу... Я раз видела одну женщину, она прислонилась лицом к стене и плакала. Она плакала от горя — ей было тридцать четыре года, и она горевала по своему прошлому времени так сильно, что я подумала — она потеряла сто рублей или больше.

— Нет, я люблю тебя, Москва, — угрюмо сказал Сарториус. — Мне с тобой хорошо будет жить!

— А мне с тобой будет нехорошо! — отвергла Москва. — И тебе будет плохо: ну зачем ты врешь, что хорошо!.. Сколько раз я хотела разделить свою жизнь с кем-нибудь, и теперь хочу, — я ничуть не жалела своей жизни и не буду ее жалеть никогда! На что она мне нужна без людей, без всего эсээра? Я комсомолка не оттого, что бедная девочка была.

Честнова говорила с огорчением, с серьезностью, как изжившая опытная старуха, и поблекла от слабости своего сердца, сжавшегося сейчас в ее груди, как в темной безвестности.

— Чтоб ты мне поверил, я тебя поцелую! — она поцеловала одичавшего от грусти Сарториуса; он лишь следил со страхом, как быстро постарела ее очевидная красота, но это стало еще сильнее для его любви.

— Я выдумала теперь, отчего плохая жизнь у людей друг с другом. Оттого, что любовью соединиться нельзя, я столько раз соединялась, все равно — никак, только одно наслаждение какое-то... Ты вот жил сейчас со мной, и что тебе — удивительно что-ли стало или прекрасно! Так себе...

— Так себе, — согласился Семен Сарториус.

— У меня кожа всегда после этого холодеет, — произнесла Москва. — Любовь не может быть коммунизмом: я думала-думала и увидела, что не может... Любить наверно надо, и я буду, это все равно как есть еду, — но это одна необходимость, а не главная жизнь.

Сарториус обиделся, что его любовь, собранная за всю жизнь, в первый же раз погибла безответно. Но он понимал мучительное размышление Москвы, что самое лучшее чувство состоит в освоении другого человека, в разделении тягости и счастья второй, незнакомой жизни, а любовь в объятиях ничего не давала, кроме детской блаженной радости, и не разрешала задачи влечения людей в тайну взаимного существования.

— Как же нам с тобой быть теперь? — спросил Сарториус.

— Мы будем еще долго, — улыбнулась Москва. — Ты жди меня, ты работай с Божко на фабрике весов и гирь, я приду к тебе снова... А сейчас я уйду.

— Куда? Посиди еще со мной, — попросил Сарториус.

— Нет, надо, — сказала Москва и встала с земли...

Солнце уже уменьшилось на небе и давало сосредоточенный накал. Вблизи гудели паровозы подъездных путей на ближнем строительстве; мелкие аэропланы летели по небу в учебных полетах и пятитонные грузовики везли бревна по грунту, размалывая почву в пыль, — жара и работа с утра распространялись по земле.

Москва попрощалась с Сарториусом, обняв руками его голову. Она была снова счастлива, она хотела уйти в бесчисленную жизнь, давно томящую ее сердце предчувствием неизвестного

наслаждения, — в темноту стеснившихся людей, чтобы изжить с ними тайну своего существования.

Она ушла довольная, сдерживая свое удовлетворение; ей захотелось сбросить платье и побежать вперед, будто она была сейчас на берегу южного моря.

Сарториус остался один. Он хотел, чтобы Честнова к нему возвратилась и они бы стали мужем и женой доверчиво и навсегда. Сарториус чувствовал, как в тело его вошли грусть и равнодушие к интересу жизни, — смутные и мучительные силы поднялись внутри него и затмили весь ум, всякое здоровое действие к дальнейшей цели. Но Сарториус согласен был утомить в объятиях Москвы все нежное, странное и человеческое, что появилось в нем, лишь бы не ощущать себя так трудно, и вновь отдаться ясному движению мысли, ежедневному, долговому труду в рядах своих терпеливых товарищей. Он хотел откупиться от всякого нынешнего и будущего содрагания своей жизни посредством простой, любимой жены и решил поэтому дожидаться возвращения Москвы.

8

Учреждение находилось накануне ликвидации. Лишь спустя время Сарториус понял, что предназначенное к ликвидации иногда может оказаться не только наиболее прочным, но даже обреченным на вечное существование. Это учреждение находилось в Старо-Гостинном дворе на антресолях, где некогда хранились товары, боящиеся сырости. Лестница из того учреждения спускалась вниз — в каменную галлерею, окружавшую весь старинный торговый двор. На входной двери помещалась железная вывеска: Республиканский трест весов, гирь и мер длины — «Мерило труда».

Управление этой полузабытой и бедной отрасли тяжелой промышленности представляло из себя одну большую сумрачную залу с низким потолком, устроенным в виде подземного свода; при этом потолок у стен опускался настолько низко, что служащие, сидевшие вблизи стен, почти касались его головами. В зале стояло несколько столов и за каждым сидело по одному или по два человека, которые писали, либо считали на счетах. Всех служащих было человек тридцать или не более сорока, однако шумом своей работы, движением, вопросами и восклицаниями они производили впечатление громадного учреждения первостепенной важности.

В тот же день Сарториуса приняли на должность инженера по весовым конструкциям и он сел за плоский стол против Виктора Васильевича Божко.

Пошли дни его новой жизни. В несколько ночей Сарториус закончил свой последний проект для института опытного машиностроения, где он работал до того времени, и сосредоточился на самой древней машине в мире — весах. Ничто так мало не изменилось на протяжении последних пяти тысяч лет истории, как весовая машина. Во времена циклопов, в античной Греции и Карфагене, в великой Персии, погибшей под ударами Александра Македонского, — всюду во всех временах и пространствах самой всеобщей и необходимой машиной были весы. Весы столь же стары, как оружие, и может быть они одно и то же с ним, — весы это военный меч, положенный своей серединой на ребро камня — для справедливого разделения добычи между победителями.

Божко, не умевший работать без умственной и сердечной любви к предмету порученного ему труда, широко объяснил Сарториусу решающее значение весов в жизни человечества.

— Еще покойник Дмитрий Иванович Менделеев, — говорил он, — выше всего полюбил весы! Он свою периодическую систему элементов и то меньше любил! Хотя, что ж! Там ведь все дело основано на тех же весах: атомный вес, больше ничто!

Божко знал также, почему весовой прибор есть наиболее заметный и скучный предмет: потому что человек зорко всматривается лишь в то, что лежит на весах — в колбасу или в хлеб, но что под ними — он не замечает; а под хлебом и колбасой находятся весы — инструмент

чести и справедливости, простая нищая машина, считающая и берегущая священное добро социализма, измеряющая пищу рабочего и колхозника в меру его творящего труда и хозрасчета.

И с усердием, со скупостью к крошкам хлеба, пропадающим благодаря неточности весов, Сарториус углубился в свои занятия. Внутри его тайно ото всех встретились и сочетались два чувства — любовь к Москве Честновой и ожидание социализма. В его неясном воображении представлялось лето, высокая рожь, голоса миллионов людей, впервые устраивающихся на земле без тяготения нужды и печали, и Москва Честнова, идущая к нему в жены издалека, она обошла всю жизнь, пережила ее с несметным числом людей и оставила годы терпения и чувства в темноте минувшей молодости; она возвращалась такой же, только в бедном платье, босая, с отросшими на работе руками, но более веселая и ясная, чем была прежде; она нашла теперь удовлетворение для своего блуждающего сердца...

Блуждающее сердце! Оно долго содрагается в человеке от предчувствия, сжатое костями и бедствием ежедневной жизни, и наконец бросается вперед, теряя свое тепло на холодных прохладных дорогах.

Согнувшись над столом в учреждении, Сарториус как можно скорее работал над улучшением устройства весов. Управляющий трестом сообщил Сарториусу об опасности весовых бунтов в колхозах, по примеру соляного бунта в старину, ибо недостаток весов означает недравес хлеба по трудодням, либо хлеб выдается лишний, тогда получается обман государства. Кроме того, площадка товарных весов, если весы неточные, делается полем для кулацкой политики и классовой борьбы. Гирьевая проблема также черевата грозными событиями — уже во многих пунктах кладут вместо клейменных гирь жуткие пустяки, вроде кирпичей, чугуновых болванок, и даже сажают в определенных случаях беременных женщин, уплачивая за прокат их туловища как за трудодень. Все это неминуемо поведет к потере сотен тысяч центнеров зерна.

Горюя по Честновой, боясь жить одному в своей комнате, Сарториус иногда оставался ночевать в учреждении. В десять часов вечера сторож засыпал предварительно на стуле у входа, а затем уходил в фанерный кабинет управляющего и укладывался в мягком кресле. Шло время на больших официальных часах, пустые столы вызывали тоску по служащим, иногда показывались мыши и кроткими глазами глядели на Сарториуса.

Он сидел один над тою же задачей, над которой думал некогда Архимед, а позже Менделеев. Задача ему не давалась, весы и так были хороши, однако нужны были другие и лучшие, чтобы меньше тратить металла на их изготовление. Сарториус покрывал целые листы бумаги расчетами призм, рычагов, деформационных напряжений, себестоимостью матерьяла и прочими данными. Вдруг слезы самостоятельно выходили из его глаз и текли по лицу, так что Сарториус удивлялся этому явлению; в глубине его тела жило что-то, как отдельное животное, и молча плакало, не интересуясь весовой промышленностью. После полуночи, когда в открытую форточку окна — поверх всего города — доходила волна запаха дальних растений и свежих пространств, Сарториус опускал голову на стол, теряя точность размышления. Так же пахла когда-то Честнова вблизи него, природой и добротой. Он не ревновал ее сейчас: пусть она ест вкусно и помногу, не болеет, радуется, любит прохожих и спит потом где-нибудь в тепле и не помня никакого несчастья.

Раз или два в ночь внезапно раздавался телефонный звонок, и тогда Сарториус поспешно слушал трубку, но его никто не звал, это была ошибка, — человек извинялся и навечно исчезал в безмолвии; из многих друзей никто не знал, куда делся Сарториус, он надолго покинул большую дорогу техники и забыл свою славу механика, которая могла бы стать всемирной.

Однажды к нему домой пришел в гости Самбикин. Хирург сказал Сарториусу, что спинной мозг в человеке обладает некоторой способностью рационального мышления, так что думать может не только один ум в голове; Самбикин недавно это проверил на одном ребенке, которому он делал вторичную трепанацию головы; ему пришлось удалить*

* Фраза не закончена автором.

— Что ж тут такого! — не обрадовался Сарториус.

— Это основная тайна жизни, в особенности тайна всего человека, — в задумчивости сказал Самбикин. — Раньше утверждали, что спинной мозг работает только ради сердца и чисто органических функций, а головной мозг — высший координирующий центр... Это неправда: спинной мозг может мыслить, а головной мозг принимает участие в самых простых, инстинктивных процессах...

Самбикин был счастлив от своего открытия. Он еще верил, что можно враз взойти на такую гору, откуда видны будут времена и пространства обычному серому взору человека. Сарториус немного улыбнулся наивности Самбикина: природа, по его расчету, была трудней такой мгновенной победы и в один закон ее заключить нельзя.

— Ну дальше! — спросил Сарториус.

У Самбикина заклокотали внутренности от шума его высших переживаний.

— Дальше вот что... Надо проверить еще тысячу раз в эксперименте. Но вполне может получиться, что тайна жизни состоит в двойственном сознании человека. Мы думаем всегда сразу две мысли, и одну не можем! У нас ведь два органа на один предмет! Они оба думают навстречу друг другу, хотя и на одну тему... Ты понимаешь, это может явиться основанием действительно научной, диалектической психологии, которой в мире нет. То, что человек способен думать вдвойне по каждому вопросу, сделало его лучшим животным на земле...

— А другие животные? — спросил Сарториус. — У них тоже есть голова и спина.

— Верно. Но здесь разница в пустяке, хотя пустяк этот решил всемирную историю. Надо было привыкнуть координировать, сочетать в один импульс две мысли — одна из них встает из-под самой земли, из недр костей, другая спускается с высоты черепа. Надо, чтобы они встречались всегда в одно мгновение и попадали волна в волну, в резонанс одна другой... А у животных, у них тоже против каждого впечатления встают две мысли, но они идут вразброд и не складываются в один удар. Вот в чем тайна эволюции человека, вот почему он обогнал всех животных! Он взял почти пустяком: два чувства, два темных течения он сумел приучить встречаться и меряться силами... Встречаясь, они превращаются в человеческую мысль. Ясно, что это ничего не ощутимо... У животных тоже могут быть такие состояния, но редко и случайно. А человека воспитал случай, он стал двойственным существом... И вот иногда, в болезни, в несчастьи, в любви, в ужасном сновидении, вообще — вдалеке от нормы, мы ясно чувствуем, что нас двое: то есть я один, но во мне есть еще кто-то. Этот кто-то, таинственный «он», часто бормочет, иногда плачет, хочет уйти из тебя куда-то далеко, ему скучно, ему страшно... Мы видим — нас двое, и мы надоели друг другу. Мы чувствуем легкость, свободу, бессмысленный рай животного, когда сознание наше было не двойным, а одиноким. От животных нас отделяет один миг, когда мы теряем двойственность своего сознания, и мы очень часто живем в архейскую эпоху, не понимая такого значения... Но вновь сцепляются наши два сознания, мы опять становимся людьми в объятиях нашей «двусмысленной» мысли, а природа, устроенная по принципу бедного одиночества, скрежещет и свертывается от действия страшных двойных устройств, которых она не рождала, которые произошли в себе самих... Как мне жутко быть одному теперь! Это вечное совокупление двух страстей, согревающих мою голову...

Самбикин, очевидно давно не спавший, не евший, изнемог и сел в отчаянии.

Сарториус угостил его консервами и водкой. Постепенно они оба смирились от усталости и легли спать не раздетые, при горящем электричестве, и сердце и ум продолжали заглушенно шевелиться в них, спеша отработать в свой срок обыкновенные чувства и всемирные задачи.

Уже давно на Спасской башне прозвучала полночь и умолкла музыка интернационала; скоро наступит рассвет, и в предвидении его самые нежные, мало гостящие птицы зашевелились в кустарниках и садоводствах, а затем поднялись и улетели прочь, оставляя страну, где лето уже начало остывать.

Когда взошла заря и пожелтели лампы, длинный Самбикин и небольшой Сарториус по-прежнему спали на одном диване и шумно дышали, как пустотелье. Стесненная сном забота

об окончательном устройстве мира все же снедала их совесть, и они время от времени бормотали слова, чтобы изгнать из себя беспокойство. Где была, где спала сейчас Москва Честнова, какое лето жизни она искала себе в начале осени, оставив друзей в ожидании?

Под конец сна Сарториус улыбнулся; кроткий характером, он почувствовал, что его мертвого зарыли в землю, в глубокое тепло, а вверху, на дневной поверхности могилы, осталась плакать по нем одна Москва Честнова. Больше никого не было, — он умер безымянным, как человек, действительно свершивший все свои задачи: республика насыщена весами до затоваривания и составлен весь арифметический расчет будущего исторического времени, дабы судьба стала безопасна и никогда не пришла в упор отчаяния.

Он проснулся довольный, с решимостью сделать и довести до совершенства всю техническую арматуру, автоматически перекачивающую из природы в человеческое тело основную житейскую силу пищи. Но глаза его уже с утра поблекли от воспоминания о Москве и он от страха страдания разбудил Самбикина.

— Самбикин! — спросил Сарториус. — Ты доктор, ты знаешь ведь всю причину жизни... Отчего она так долго длится и чем ее утешить или навсегда обрадовать?

— Сарториус! — шутя ответил Самбикин. — Ты механик, ты знаешь, что такое вакуум...

— Ну знаю: пустота, куда всасывается что-нибудь...

— Пустота, — сказал Самбикин. — Пойдем со мною, я тебе покажу причину всей жизни.

Они вышли и поехали на трамвае. Сарториус смотрел в окно и встретил около ста тысяч человек, но нигде не заметил лица Москвы Честновой. Она могла даже умереть, ведь время идет и случайности сбываются.

Они приехали в хирургическую клинику Института Экспериментальной Медицины.

— Сегодня я вскрываю четыре трупа, — сообщил Самбикин. — Нас здесь трое работают над одной темой: добыть одно таинственное вещество, следы которого есть в каждом свежем трупе. Это вещество имеет сильнейшую оживляющую силу для живых усталых организмов. Что это такое — неизвестно! Но мы постараемся вникнуть...

Самбикин приготовился как обычно и повел Сарториуса в прозекторское отделение. Это была холодная зала, где четыре мертвых человека лежали в ящиках, имеющих лед между двойными стенками.

Два помощника Самбикина вынули из одного ящика тело молодой женщины и положили перед хирургом на наклонный стол, похожий на увеличенный пульт музыканта. Женщина лежала с ясными открытыми глазами: вещество ее глаз было настолько равнодушно, что могло блеснуть и после жизни, если только оно не разлагалось. Сарториусу стало плохо, он решил из института бежать скорее в свой трест, явиться в местком и попросить какой-нибудь товарищеской помощи от ужаса своего тоскующего сердца.

— Хорошо, сказал готовый к работе Самбикин и дал объяснение Сарториусу. — В момент смерти в теле человека открывается последний шлюз, не выясненный нами. За этим шлюзом, в каком-то темном ущелье организма, скупно и верно хранится последний заряд жизни. Ничто, кроме, смерти, не открывает этого источника, этого резервуара — он запечатан наглухо до самой гибели... Но я найду эту цистерну бессмертия...

— Ищи, — произнес Сарториус.

Самбикин отрезал женщине левую грудь, затем снял всю решетку грудной клетки и с крайней осторожностью достиг сердца. Вместе с помощниками он выбрал сердце и инструментами бережно положил его в стеклянный цилиндр — для дальнейшего исследования; тот цилиндр взяли и унесли в лабораторию.

— На этом сердце тоже есть следы той неизвестной секреции, о которой я тебе говорил, — сообщил Самбикин своему другу. — Смерть, когда она несется по телу, срывает печать с запасной, сжатой жизни и она раздается внутри человека в последний раз, как безуспешный выстрел, и оставляет неясные следы на его мертвом сердце... Но это вещество — высшая драгоценность по своей энергии. И странно, самое живое проявляется в момент последнего дыхания... Природа хорошо боится своих мероприятий!

Далее Самбикин начал поворачивать мертвую девушку, точно предъявляя Сарториусу ее упитанность и целомудрие.

— Она хороша, — неопределенно произнес хирург; у него прошла мысль о возможности жениться на этой мертвой — более красивой, верной и одинокой, чем многие живые, и он заботливо обвязал ей бинтом разрушенную грудь. — А сейчас мы увидим общую причину жизни...

Самбикин вскрыл сальную оболочку живота и затем повел ножом по ходу кишок, показывая, что в них есть: в них лежала сплошная колонка еще не обработанной пищи, но вскоре пища окончилась и кишки стали пустые. Самбикин медленно миновал участок пустоты и дошел до начавшегося кала, там он остановился вовсе.

— Видишь! — сказал Самбикин, разверзая получше пустой участок между пищей и калом. — Эта пустота в кишках всасывает в себя все человечество и движет всемирную историю. Это душа — нюхай!

Сарториус понюхал.

— Ничего, — сказал он. — Мы эту пустоту наполним, тогда душой станет что-нибудь другое.

— Но что же? — улыбнулся Самбикин.

— Я не знаю что, — ответил Сарториус, чувствуя жалкое унижение. — Сперва надо накормить людей, чтобы их не тянуло в пустоту кишок.

— Не имея души, нельзя ни накормить никого, ни наесться, — со скукой возразил Самбикин. — Ничего нельзя.

Сарториус склонился ко внутренности трупа, где находилась в кишках пустая душа человека. Он потрогал пальцами остатки кала и пищи, тщательно осмотрел тесное, неимущее устройство всего тела и сказал затем:

— Это и есть самая лучшая, обыкновенная душа. Другой нету нигде.

Инженер повернулся к выходу из отделения гробов. Он согнулся и пошел оттуда, чувствуя позади улыбку Самбикина. Он был опечален грустью и бедностью жизни, настолько беспомощной, что она почти непрерывно должна отвлекаться иллюзией от сознания своего истинного положения. Даже Самбикин ищет иллюзий в своих мыслях и открытиях, — он тоже увлечен сложностью и великой сущностью мира в своем воображении. Но Сарториус видел, что мир состоит более всего из обездоленного вещества, любить которое почти нельзя, но понимать нужно.

9

Москве Честновой некуда было больше деться, когда она решила в жилище свое не возвращаться и Сарториуса больше не любить. Долгие часы она ходила и ездила по городу, к ней никто не прикоснулся и не спросил ни о чем. Всеобщая жизнь неслась вокруг нее таким мелким мусором, что Москве казалось — люди ничем не соединены и недоумение стоит в пространстве между ними.

Под вечер она отправилась в тот жакт, где жил вневойсковик. Скрипач настраивал свою скрипку у входа в домоуправление, по ту сторону забора визжала круглая пила на строительстве медицинского института и жители жакта собирались в коридоре для обычной беседы.

Вневойсковик Комягин лежал на железной койке в своей маленькой комнате. Он тщетно искал в себе какую-нибудь мысль, чувство или настроение и видел, что ничего в нем нет. Стараясь о чем-нибудь подумать, он уже вперед не имел интереса к предмету своего размышления и оставлял поэтому свое желание мыслить. Если же нечаянно появлялась в его сознании какая-либо загадка, он все равно не мог ее решить и она болела в его мозгу до тех пор, пока он ее физически не уничтожал путем, например, усиленной жизни с женщинами и долгого сна. Тогда он пробуждался вновь порожним и спокойным, не помня своего внутреннего

бедствия. Иногда в нем начиналось страдание или раздражение, подобно бурьяну в покинутом месте, но Комягин быстро превращал их в пустое равнодушие посредством своих мер.

Но последние годы он уже устал бороться с собой, как с человеком, и изредка плакал в темноте, накрыв лицо одеялом, не мытым со дня его изготовления.

Однако было давнее время, когда Комягин жил необыкновенно. До сих пор на стенах его квартиры висели незаконченные картины масляной краской, изображающие Рим, пейзажи, различные избушки и рожь над оврагами. Это начинал когда-то рисовать Комягин, но ни одной картины не управился дорисовать, хотя прошло времени, как он их начал, лет десять или больше; поэтому избушки остались разоренными — без крыш, рожь не доросла до колоса, Рим походил на губернию. Где-то под кроватью, в изжитых вещах, валялась тетрадка с начатыми в молодости стихами и целый дневник, также не завершённый ничем, остановленный на полуслове, точно кто-то ударил Комягина и он уронил перо навсегда. Года три назад Комягин хотел составить опись своих вещей и предметов, но список этот также не мог окончить, успев внести туда лишь четыре пункта: себя самого, кровать, одеяло и стул, а остальное ожидало своего учета в каких-то будущих, лучших временах.

Недавно Комягин повсюду искал пуговицу и нашел тетрадь со своими начатыми стихами. Он писал их из сельской жизни и прочел начало одного стиха:

Тою ночью, тою ночью чутко спали пашни, села,
Звали молча к ним дороги, уходили на звезду.
И дышала степь в истоме сердцем тихим, телом голым,
Как в испуге на дрожащем, уплывающем мосту...

Конца стихотворения не было; единственный стул не стоял на ножках и нуждался в срочной починке, Комягин принес даже когда-то два гвоздя для этого дела, но к работе все еще не приступил.

Иногда Комягин полагал про себя: через месяц или два я начну новую жизнь — дорисую картины, закончу стихи, обдумаю полностью свое мировоззрение, оформлю документы, поступлю на твердую работу, стану ударником, полюблю женщину-подругу и женюсь... Он надеялся, что через месяц-два в самом времени случится что-то особенное и оно, приостановившись, возьмет его в свое движение, но годы проходили мимо его окна без остановки и без счастливого случая. Тогда он подымался с кровати и уходил, как осодмилец, штрафовать публику в местах ее скопления.

И вот наступил август месяц одного из текущих лет. Шел вечер, распространяя по небу удаляющийся долгий и грустный звук, отчего в каждое открытое сердце проникала тоска и сожаление. В этот вечер Москва Честнова постучала в дверь Комягина. Не вставая с кровати, он сбросил левой рукою запорный крючок и пригласил гостью войти. Она вошла к нему, странная и знакомая, в своем дорогом платье и оглядела эту комнату, как свое привычное жилище. Вневойсковик решил сразу сдать: документы у него были в беспорядке и оправдания нет. Но Честнова спросила его лишь, как он живет и не скучно ли ему так быть одному и ничему.

— Мне ничего, — сказал Комягин. — Я ведь и не живу, я только замешан в жизни, как-то такое, ввязали меня в это дело... Но ведь зря!

— Что зря? — спросила Москва.

— Неохота мне, — сказал Комягин. — Все время приходится надуваться: то думать, то говорить, куда-то идти, что-то действовать... Но мне ничего неохота, я все забываю, что живу, а вспомню — начинается жутко...

Москва осталась у него побыть, удивляясь обстановке жизни этого давно начатого и неконченного человека. Комягин согрел ей кашу на ужин, потом показал свою любимую картину из неизвестного для Честновой времени. Комягин достал ту картину из своего укромного хлама под кроватью; картина не была впрямую дорисована, но мысль на ней изображалась ясно.

— Если б государство не возражало, я бы тоже так жил, — указал Комягин.

На картине был представлен мужик или купец, небедный, но нечистый и босой. Он стоял на деревянном, худом крыльце и мочился с высоты вниз. Рубаху его поддувал ветер, в обжитой мелкой бородке находились сор и солома, он глядел куда-то равнодушно в нелюдимый свет, где бледное солнце не то вставало, не то садилось. Позади мужика стоял большой дом безродного вида, в котором хранились наверно банки с вареньем, пироги и была деревянная кровать, приспособленная почти для вечного сна. Пожилая баба сидела в застекленной надворной постройке — видна была только одна голова ее — и с выражением дуры глядела в порожнее место на дворе. Мужик только что очнулся ото сна, а теперь вышел опроститься и проверить — не случилось ли чего особенного, — но все оставалось постоянным, дул ветер с немилых, ободранных полей, и человек сейчас снова отправился на покой — спать и не видеть снов, чтоб уже скорее прожить жизнь без памяти.

Позже к Комягину пришла его старая, разведенная жена, истертая женщина, измученная с давних пор. Она приходила к Комягину очень редко и видимо еще трогала его чувство воспоминанием прежней привязанности. Комягин устроил угощение своих гостей, но бывшая жена, молча выпив чаю, вскоре собралась уходить, чтобы не мешать мужу оставаться с новой толстой девкой, как она оценила Честнову. Для этой женщины все были толстыми, лишь ею одною никто не интересовался. Однако Комягин вывел Честнову в коридор и попросил ее погулять немного, а потом вернуться, если ей нужно.

— Я ведь томлюсь, когда не поживу с женщиной, — признался Комягин. — Мне некуда деться, интереса все равно нету... Вы же со мной, извините, все равно знакомы не будете.

— Нет, я буду, — сказала Москва, смущенная горем Комягина. — Вы ступайте к ней.

Но Комягин еще постоял с нею в коридоре.

— Вы не обижайтесь...

— Я не обижаюсь, вы мне нравитесь немного, — ответила Москва.

Комягин все же огорчился и наклонил голову.

— Она ведь мне женою была... Она плохо пахла, рожала от меня детей, а дети умерли... Мы вместе с ней спали нечистые. Она мне стала как брат, она теперь худеет и дурнеет, — любовь наша уже превратилась во что-то лучшее — в нашу общую бедность, в наше родство и грусть в объятиях...

— Я это понимаю, — тихо согласилась Москва. — Ты такой маленький гад, который живет в своей земляной дырочке. Я девочкой их видала, когда лежала в поле вниз лицом.

— Это вполне понятно, — охотно согласился Комягин. — Я человек ничто.

Москва нахмурился: «Ну зачем, зачем он есть на свете? Из-за одного такого все люди кажутся сволочью, и каждый бьет их чем попало насмерть!»

— Я когда-нибудь приду к вам и буду женой, — сказала Москва.

— Я вас буду дожидаться, — согласился Комягин.

Но Москва быстро передумала, как еще не затвердевшее и неверное существо:

— Нет, не ждите, я никогда не приду в этот дом, — ты жалкий мертвец!

Она стала раздраженной и несчастной и прислонилась головой к стене.

В коридоре потух свет из экономии. Комягин ушел в свою комнату и оттуда долго слышались сквозь временную стену звуки измученной любви и дыханье человеческого изнеможения. Москва Честнова прижалась грудью к канализационной холодной трубе, проходящей с верхнего этажа вниз; она присмирела от стыда и страха и ее сердце билось страшнее, чем у Комягина за перегородкой. Но когда она сама делала тоже самое, она не знала, что постороннему человеку бывает так же грустно, и неизвестно отчего.

Нет, не здесь проходит вдаль большая дорога жизни — не в бедной любви, не в кишках и не в усердном разумении точных мелочей, как делает Сарториус.

Она вышла наружу, была уже ночь. Громадные облака, освещенные лишь собственным слабым светом, прилегали близко к поверхности городских крыш и уносились в тьму полей, в скошенные пространства пустой, оголтелой земли.

Честнова пошла к центру, глядя во все попутные ярко освещенные окна жилищ и становливаясь у некоторых из них. Там пили чай с семьей или гостями, прелестные девушки играли на роялях, из радиотруб раздавались оперы и танцы, спорили юноши по вопросам арктики и стратосферы, матери купали своих детей, шептались двое-трое контрреволюционеров, поставив на стуле у двери гореть открытый примус, чтоб их слов не расслышали соседи... Москва настолько интересовалась происходящим на свете, что вставала носками туфель на выступы фундамента и засматривалась вглубь квартир, пока ее не осмеивали прохожие.

Она провела несколько часов в таком наблюдении и повсюду замечала радость или удовольствие, однако ей самой делалось все более печально. Все люди были заняты лишь взаимным эгоизмом с друзьями, любимыми идеями, теплом новых квартир, удобным чувством своего удовлетворения. Москва не знала, к чему ей привязаться, к кому войти, чтобы жить счастливо и обыкновенно. В домах ей не было радости, в тепле печей и в свете настольных абажуров она не видела покоя. Она любила огонь дров в печах и электричество, но так, как если бы она сама была не человеком, а огнем и электричеством — волнением силы, обслуживающей мир и счастье на земле.

Москве уже дано хотелось есть, поэтому она вошла в ночной ресторан. Денег у нее не было никаких, но она села и взяла ужин. Все время оркестр играл какую-то безумную европейскую музыку, содержащую центробежные силы; после танцев под эту музыку хотелось свернуться телом в теплоту и лечь в тесный, уединенный гроб. Не обратив на это внимания, Москва приняла участие в танцах среди зала; ее приглашал почти всякий человек из публики, находя в ней что-то утраченное в самом себе. Вскоре иные уже плакали, уткнувшись в платье Москвы, потому что опились вина, другие тут же исповедывались с точными подробностями. Сферический зал ресторана, оглушенный музыкой и воплями людей, наполненный мучительным дымом курения и сдавленных страстей, этот зал словно вращался — всякий голос в нем раздавался дважды и страдание повторялось; здесь человек никак не мог вырваться из обычного — из круглого шара своей головы, где катались его мысли по давно проложенным путям, из сумки сердца, где старые чувства бились как пойманные, не впуская ничего нового, не теряя привычного, и краткое забвение в музыке или в любви ко встречной женщине кончались либо раздражением, либо слезами отчаяния. Чем позже шло время, тем больше сгущалось веселье, тем быстрее вращался сферический зал ресторана, и многие гости забыли, где дверь, и в испуге кружились на одном месте посреди, предполагая, что танцуют. Нестарый, долго молчавший человек, с темным светом в глазах, с наслаждением и садизмом угощал Москву, точно он внедрял в нее не сладкое кушанье, а собственное доброе сердце. Но Честнова вспоминала другие вечера, проведенные со своими сверстниками; она видела там за открытыми летними окнами простое поле, открытое в плоскость бесконечности, и в груди ее товарищей не вращалась эта сферическая, вечно повторяющаяся мысль, приходящая к своему отчаянию, — там была стрела действия и надежды, напряженная для безвозвратного движения вдаль, в прямое жесткое пространство.

Ночь склонялась к утру. Где-то спал Комягин с худою женщиной, сидел Сарториус над решением всех проблем, один и тот же такт играл и варьировал оркестр, как будто катая его по внутренней поверхности полого безвыходного шара; собеседник Москвы бормотал вековую мысль о своей любви и печали, об одиночестве и припадал устами к чистой коже у локтя Москвы. Честнова молчала. Тогда ее знакомый, выпив немного вина для паузы, снова говорил ей о своей привязанности, о будущем возможном счастье, если Москва ответит ему так же любовью.

— Бросьте вы буксовать на одном и том же месте, — ответила ему Честнова. — Если полюбили, то перестаньте...

Собеседник Москвы не согласился:

— Мы рождаемся и умираем на груди у женщины, — он слегка улыбнулся, — так полагается по сюжету нашей судьбы, по всему кругу счастья...

— А вы живите по прямой линии, без сюжета и круга, — посоветовала Москва; она чуть тронула свои груди указательным пальцем. — Посмотрите, на мне вам трудно будет умереть, я не мягкая...

Сильный добрый свет возник во тьме глаз этого внезапного товарища Честновой; он взгляделся в обе ее груди и сказал:

— Вы правы, дорогая моя. Вы еще очень жесткая, вас наверно не мяли насмерть... У вас даже грудные соски глядят вперед как два пробойных острия... Как это странно и тяжело видеть мне!

Он отвел голову в тоске; ясно было, что его любовь к Москве усиливалась от всякой замеченной новости в ней, даже от цвета чулок. Также ее любил и Сарториус, вероятно — и Самбикин... Москва равнодушно поглядела на своего приятеля; ей не хотелось встречать в новых лицах тех, кого она оставила раньше. Если перед ней сидит такой же человек, что и Сарториус, то лучше вернуться к первому Сарториусу и не покидать его никогда.

Перед рассветом заиграли самый энергичный фокстрот, который действовал даже на пищеварение. Москва вышла танцевать со своим новым другом; они танцевали почти одни среди зала, опустошенного долгим весельем, как бедствием. Многие посетители уже дремали, некоторые глядели как мертвые, объевшись пищей и мнимыми страстями.

Музыка вращалась быстро, как тоска в костяной и круглой голове, откуда выйти нельзя. Но скрытая энергия мелодии была настолько велика, что обещала когда-нибудь протереть косные кости одиночества или выйти сквозь глаза, хотя бы слезами. Честнова понимала те пустяки, которые она делает сейчас ногами и руками, но ей нравилось многое, даже ненужное.

Наставал рассвет за окном сферического зала ресторана. Снаружи росло дерево; теперь его было видно в свете зари. Ветви дерева росли прямо вверх и в стороны, никуда не закругляясь, не возвращаясь назад, и кончалось дерево резко и сразу, — там, где ему не хватило сил и средств уйти выше. Москва глядела на это дерево и говорила себе: «Это я, как хорошо! Сейчас уйду отсюда навсегда».

Она попрощалась с кавалером, но он загоревал по ней.

— Куда вы? Не надо спешить... Пойдемте отсюда куда-нибудь еще. Но погодите немного, я расплачусь...

Москва молчала. Он предложил дальнейшее:

— Уйдем отсюда в поле — впереди нас ничего нет в мире, только дует какой-нибудь ветер из тьмы! А во тьме всегда хорошо...

Он напряженно улыбался, скрывая огорчение, считая последние секунды до разлуки.

— Ну нет! — сказала весело Москва. — Ишь вы, дурак какой нашелся... До свиданья, благодарю вас.

— Куда вас можно поцеловать — в щеку или в руку?..

— В эти места нельзя, — смеялась Москва. — Можно в губы. Дайте — я сама вас...

Она поцеловала его и ушла. Человек остался расплачиваться без нее, удивляясь бессердечию молодого поколения, которое страстно целуется, точно любит, а на самом деле — прощается навечно.

Честнова шла одна на заре по столице. Она шла важно и насмешливо, так что дворники загодя отводили поливные рукава и ни одна капля не попала на платье Москвы.

Жизнь ее еще была долга, впереди простиралось почти бессмертие. Ничто не пугало ее сердце и на защите ее молодости и свободы дремали где-то пушки вдали, как спит гроза зимою в облаках. Москва посмотрела на небо; там видно было, как шел ветер подобно существу и шевелил наверху смутный туман, надышанный ночью человечеством.

На Каланчевской площади, за дощатой изгородью шахты сопели компрессоры метрополитена. У рабочего входа висел плакат: «Комсомолец, комсомолка! Иди в шахту метро!..»

Москва Честнова поверила и вошла в ворота; она желала быть везде соучастницей и была полна той неопределенностью жизни, которая настолько счастлива, как и ее окончательное разрешение.

10

Сарториус решил проблему весов для колхозов. Он выдумал способ взвешивания хлеба на кварцевом камне. Этот камень был невелик, всего в несколько граммов. При сжатии его грузом кварцевый камешек выделял слабое электричество, которое усиливалось радиолампами и двигало, сколько нужно, стрелку циферблата, где отмечался вес. Радио было всюду, и на ссыпках, и в колхозных жилищах, и в клубах, поэтому весы состояли только из деревянной платформы, кварцевого камешка и циферблата, что было дешевле прежних сотенных весов раза в три и не требовало железа.

Теперь Сарториус переводил весь весовой парк республики на электричество. Он хотел пассивную мировую постоянную — тяготение земли заменить активной постоянной — энергией электрического поля. Это способно было дать весовым механизмам острое чувство точности и делало весовые машины дешевыми.

Лето окончилось, пошли дожди, такие же долгие и скучные, как в раннем детстве при капитализме. Сарториус редко ходил домой; ему там было страшно оставаться со своею тоскою по любимой, пропавшей Москве. Поэтому он с усердной сосредоточенностью занимался чертежами и его сердце успокаивалось, сознавая пользу сбережения для государства и колхозников миллионов рублей благодаря техническому улучшению весового парка.

Здесь же, в Старо-Гостинном дворе, в учреждении бедняцкой, полузабытой промышленности, Сарториус нашел не только почет за свой труд, но и человеческое утешение в своей печали.

Виктор Васильевич Божко, бывший председателем месткома весового треста, узнал тайну Сарториуса. Однажды как обычно Сарториус занимался поздним вечером. В тресте остался лишь один бухгалтер, подбивая квартальный баланс, да еще Божко склеивал вдали очередную стенгазету. Сарториус загляделся в окно, там люди целыми толпами ехали в трамваях из театров и гостей, им было весело друг с другом и жизнь их шла надежно к лучшему, лишь техника напрягалась под ними — гнулись рессоры вагонов и утомленно гудели моторы.

Тем более озабоченно склонялся Сарториус над своей работой. Надо было решить не только задачу весов, но и железнодорожный транспорт и прохождение кораблей в Ледовитом океане и попытаться определить внутренний механический закон человека, от которого бывает счастье, мучение и гибель. Самбикин ошибался, когда указывал душу мертвого гражданина в пустоте кишок между калом и новой пищевой начинкой. Кишки похожи на мозг, их сосущее чувство вполне рационально и поддается удовлетворению. Если бы страсть жизни сосредоточилась лишь в темноте кишок, всемирная история не была бы так долга и почти бесплодна; всеобщее существование, основанное даже на одном разуме желудка, давно стало бы прекрасным. Нет, не одна кишечная пустая тьма руководила всем миром в минувшие тысячелетия, а что-то другое, более скрытное, худшее и постыдное, перед чем весь вопиющий желудок трогателен и оправдан, как скорбь ребенка, — что не пролезает в сознание и поэтому не могло быть понято никогда прежде: в сознание /разум/* ведь попадает лишь подобное ему, нечто похожее на саму мысль. Но теперь! Теперь — необходимо понять все, потому что социализму удастся добраться во внутренность человека до последнего тайника и выпустить оттуда гной, скопленный каплями во всех веках, либо ничего нового не случится и каждый житель отойдет жить отдельно, бережно согревая в себе страшный тайник души, чтобы опять со сладострастным отчаянием впитаться друг в друга и превратить земную поверхность в одинокую пустыню с последним плачущим человеком...

* Здесь и далее так обозначены места, где автор записал по два варианта, но выбора не сделал.

— Как много надо трудиться нам! — вслух сказал Сарториус. — Не приходи, Москва, мне сейчас некогда...

В полночь Божко скипятил чай электрической грелкой и с почтением начал угощать Сарториуса. Он сердечно уважал молодого, трудолюбивого инженера, который с охотой пришел работать в малозначную, неизвестную промышленность, оставив в стороне славу авиации, разложения атома и сверхскоростной езды. Они пили чай и вели беседу об изжитии брака гирь, о двадцать первом правиле проверки весоизмерителей и о прочих подобных, по форме скучных предметах. Но за этим у Божко скрывалась страсть целого сердца, потому что точная гиря влекла за собою долю благоденствия колхозной семьи, помогала расцвету социализма, обнадеживала в конце концов душу всех неимущих земного шара. Гиря, конечно, небольшое дело, но Божко и себя сознавал невеликим, поэтому для счастья его всегда хватало матерьяла.

Столица засыпала. Лишь вдалеке где-то стучала машинка в поздней канцелярии и слышалось, как сифонили трубы МОГЭСа, но большинство людей лежали в отдыхе, в объятиях или питались в темноте квартир секретами своих скрытых душ, темными идеями эгоизма и ложного блаженства.

— Поздно, — сказал Сарториус, напившись чаю с Божко. — Все уже спят в Москве, одна только сволочь наверно не спит, вожделеет и томится.

— А, это кто ж такие, Семен Алексеевич? — спросил Божко.

— Те, у которых есть душа.

Божко готов был из любезности к ответу, но промолчал, так как не знал, что сказать.

— А душа есть у всех, — угрюмо произнес Сарториус; он в усталости положил голову на стол, ему было скучно и ненавистно, ночь шла утомительно, как однообразный стук сердца в несчастной груди.

— Разве с точностью открыто, что повсеместно есть душа? — спросил Божко.

— Нет, не с точностью, — объяснил Сарториус. — Она еще неизвестна.

Сарториус умолк; его ум напрягся в борьбе со своим узким, бедствующим чувством, беспрерывно любящим Москву Честнову, и лишь в слабом свете сознания стоял остальной разнообразный мир.

— А нельзя ли поскорее открыть душу, что она такое, — интересовался Божко. — Ведь и вправду: пусть весь свет мы переделаем и станет хорошо. А сколько нечистот натекло в человечество за тысячи лет зверства, куда-нибудь их надо девать! Даже тело наше не такое, как нужно, в нем скверное лежит.

— В нем скверное, — сказал Сарториус.

— Когда я юношей был, — сообщил Божко, — я часто хотел — пусть все люди сразу умрут, а я утром проснусь только один. Но все пусть останется: и пища, и все дома, и еще — одна одинокая красивая девушка, которая тоже не умрет, и мы с ней встретимся неразлучно...

Сарториус с грустью поглядел на него: как мы все похожи, один и тот же гной течет в нашем теле!

— Я тоже думал так, когда любил одну женщину.

— Кого же это, Семен Алексеевич?

— Честнову Москву, — ответил Сарториус.

— А, ее! — бесшумно произнес Божко.

— Вы ее тоже знали?

— Косвенно только, смутно, Семен Алексеевич, я был не при чем.

— Ничего! — опомнился Сарториус. — Мы теперь вмешаемся внутрь человека, мы найдем его бедную, страшную душу.

— Пора бы уж, Семен Алексеевич, — указал Божко. — Надоело как-то быть все время старым природным человеком: скука стоит в сердце. Изуродовала нас история-матушка!

Вскоре Божко улегся спать на столе, приготовив для Сарториуса постель в кресле управляющего. Божко был теперь еще более доволен, поскольку лучшие инженеры озаботились переделкой внутренней души. Он давно втайне боялся за коммунизм: не осквернит ли его

остервенелая дрожь /чужеродный дух/ ежеминутно поднимающаяся из низов человеческого организма! Ведь древнее, долгое зло глубоко въелось в нашу плоть, даже само тело наше есть наверно одна сплоченная терпеливая язва или такое жульничество, которое нарочно отделилось от всего мира, чтобы победить его и съесть в одиночку...

В тот же день на вечер Божко собрал президиум месткома, где тактично доложил о личном горе инженера Сарториуса и наметил меры по уменьшению его страдания.

— Мы привыкли вмешиваться только во что-то общее и широкое, — говорил Божко на президиуме, — а надо попробовать также помочь частному и глубокому. Продумайте это, товарищи, по-советски и человечески, — вы помните, как Сталин нес урну с прахом инженера Федосеенко... Хотя горе товарища Сарториуса необыкновенно, благодаря его чувству, но уменьшить его надо обыкновенной мерой, потому что в жизни, как я заметил, хотя может быть и неверно, самое сильное — это что-нибудь обыкновенное: я ведь так полагаю.

Машинистка Лиза, член месткома, с легковой готовностью полюбила про себя Сарториуса, потому что ей стало стыдно. Она была нежна и нерешительна, лицо ее почти всегда имело розовый цвет от совестливого напряжения с людьми. Девственница, она рано полнела, темные волосы ее росли все более густо и наружность делалась такой привлекательной, что многие обращали внимание и думали о Лизе, как о своем счастье. Один Сарториус замечал ее как-то косвенно и ничего не предполагал о ней.

Через два дня Божко посоветовал Сарториусу поглядеть на Лизу, — она очень мила и добра, но несчастна от скромности.

В дальнейшем времени, благодаря общему делопроизводству, Сарториус ближе познакомился с Лизой и он в недоумении погладил ее руку, лежавшую на машинном столике, не зная, что сказать. Лиза не взяла руки и промолчала; был уже вечер, луна быстро, как время, всходила на небо за стенами учреждения, точно отмечая ежеминутную истекающую молодость.

Лиза и Сарториус вышли вместе на улицу, занятую таким тесным движением людей, что казалось здесь же происходило размножение общества. Они поехали в окрестность города на трамвае, там была уже поздняя осень, в кочковатых полях стояла холодная сухость и некогда стоявшая рожь, освещенная зарей полночного московского зарева, теперь была скошена и место лежало пустынным. В страхе от своего воспоминания Сарториус обнял Лизу, широко оглядывая одинокую тьму ночи; Лиза в ответ прильнула к нему, согреваясь и приобретая его руками, как разумная хозяйка.

С тех пор Сарториус нашел в учреждении утешение своей души и заунывная боль его по Москве Честновой превратилась в грустную память о ней, как о погибшей... За каменные весы он получил много денег, одел на них Лизу в роскошь и некоторое время жил легко и даже весело, предаваясь любви, посещению театров и текущим удовольствиям. Лиза была верна ему и счастлива — лишь одного она боялась — как бы Саториус не оставил ее; поэтому она подолгу смотрела в его лицо, когда он спал, и думала о том, чтобы как-либо безболезненно и незаметно испортить наружность Сарториуса, хотя он и так был недостаточно красив, — тогда уж его, как уroda, не полюбит другая женщина и он будет жить с нею до самой смерти. Однако Лиза ничего выдумать не умела, и не знала, как сделать, чтобы Сарториус для всего мира стал ненавистным, — и когда он улыбался во сне неизвестному легкому сновидению, у Лизы показывались слезы от горя ревности и нарождающейся ярости.

Ум Сарториуса успокоился, в нем опять произвольно, как в семеннике, производились мысли и фантазии, и он просыпался, наполненный открытиями и далекими представлениями; он воображал себе бедняцкий южно-советский Китай и шведского ученого Мальмгрена, замерзшего во льду, уже забытого всем светом. И с беспокойством от ответственности своей жизни, со страхом от ее скорости, легкомыслия и мнимой утоленности, Сарториус работал все более поспешно, боясь умереть или снова полюбить Москву Честнову и тогда замучиться.

Наступила зима. Многие ночи Сарториус просидел в учреждении, в то время как Лиза что-то печатала вдали на машинке. Он спроектировал электрические весы, которые взвешивали звезды на расстоянии, когда они показывались над горизонтом востока, и его за это поцеловал

замнаркома тяжелой промышленности; но Сарториус постепенно терял интерес и к весам, и к звездам: он чувствовал в себе смутное волнение, не объяснимое его счастливой молодостью, и тайна человеческой жизни была для него неясна; он чувствовал себя так, как будто до него люди не жили и ему предстоит перемотаться всеми мученьями, испытать все сначала, чтобы найти для каждого тела человека еще не существующую, великую жизнь. В тоске и нестерпимости, лишь бы задуматься и переменить мысли, он целовал свою Лизу, и та принимала всерьез его чувство. Но после он долго спал с испитым сердцем и просыпался в отчаянии. Москва Честнова была права, что любовь это не коммунизм /будущее/ и страсть грустна.

11

Зимой в два часа дня /ночи/ подъемник 18-ой шахты метрополитена сработал по аварийному сигналу — наверх была поднята девушка-вахтер и вызвана карета скорой помощи. У той девушки была размята правая нога в верхней полной части, выше колена.

— Вам очень больно или нет? — наклонился к ней серый от усталости и страха прораб.

— Ну конечно, но только не очень! — здраво ответила шахтерка. — Я еще может быть встану сейчас...

Она действительно встала с носилок, прошла несколько шагов и упала в снег. Из нее вышла кровь; на снегу, освещенном прожектором, кровь казалась желтой, истощенной еще задолго в теле, но лицо упавшей глядело блестящими глазами и губы были красными от здоровья или высокой температуры.

— Как же это случилось с вами? — допрашивал ее прораб, помогая ей лечь на подстилку.

— Не помню, — ответила раненая, — на меня вагонетки наскочили и зажали в слепой проход... Но вы отойдите теперь, я буду спать, а то боль чувствовать неохота.

Прораб отошел, готовый сам себе оторвать ногу, лишь бы эта девушка уцелела полностью. Приехал автомобиль и увез уснувшую шахтерку в хирургическую клинику.

В экспериментальной клинике находился Самбикин в качестве ночного дежурного врача; срочных больных не привозили, он сидел наедине с мертвой материей и пытался выбрать из нее то малоизвестное вещество, которое было припасено для долгой, но не случившейся жизни.

Перед Самбикиным лежал на опытном столе некогда оперированный им ребенок. Он долго томился в больнице, однако вчера умер и перед смертью стал на короткое время безумным, потому что в костяных скважинах на его голове, где производилась операция, появился гной и сразу, со скоростью сгорания, отравил его сознание. Сестра рассказывала Самбикину, что маленький больной закрыл на минуту спокойные хорошо наполненные глаза, а открыл их пустыми и скучными, как пробитыми насквозь.

Самбикин в долгом одиночестве гладил голое тело умершего, как самую священную социалистическую собственность, и горе нагревалось в нем, пустынное, не разрешимое никем.

К полночи он раскопал инструментом сердце в груди покойного, затем вынул железу из области горла и стал исследовать эти органы приборами и препаратами, выискивая, где хранится заряд неистраченной живой энергии. Самбикин был убежден, что жизнь есть лишь одна из редких особенностей вечной мертвой материи и эта особенность скрыта в самом прочном составе вещества, поэтому умершим нужно так же мало, чтобы ожить, как мало нужно было, чтобы они скончались. Более того, живое напряжение сменяемого смертью человека настолько велико, что больной бывает сильнее здорового, а мертвый жизнеспособней живущих.

Самбикин решил мертвыми оживлять мертвых, но его позвали к раненой живой.

Шахтерку положили на стол перевязочной и накрыли лицо двойной кисеей — она спала.

Самбикин осмотрел ее ногу; кровь вырывалась с давлением наружу и слегка вспенивалась; кость была раздроблена по всему сечению и внутрь раны вьелись различные нечистоты. Но окружающее тело имело нежный смуглый цвет и такую свежую опухшую форму поздней невинности, что шахтерка заслуживала бессмертия; даже сильный запах пота, исходивший из ее кожи, приносил прелесть и возбуждение жизни, напоминая хлеб и обширное пространство травы.

Самбикин распорядился о приготовлении изувеченной к операции на завтрашний день.

Наутро Самбикин увидел на операционном столе Москву Честнову; она была в сознании и поздоровалась с ним, но нога ее стала темной и жилы на ней, переполненные мертвой кровью, набухли, как у склерозной старухи. Москва уже была вымыта и ей сбрили волосы в паху.

— Ну, теперь до свиданья! — сказал Самбикин, растирая свои большие руки.

— До свиданья, — ответила Москва и стала блуждать глазами, потому что сестра дала ей вдохнуть усыпляющее вещество.

Она заснула и пошевелила шелестящими губами в жажде горячего тела.

— Уснула, — сказала сестра, обнажая всю Москву.

Самбикин долго работал над ногой, пока не отделил ее начисто, дабы избавить организм от гангрены. Москва лежала спокойная; неопределенное грустное сновидение плыло в ее сознании, — она бежала по улице, где жили животные и люди, — животные отрывали от нее куски тела и съедали их, люди впивались и задерживали, но она бежала от них далее, вниз, к пустому морю, где кто-то плакал по ней; туловище ее ежеминутно уменьшалось, одежду давно содрали люди, наконец остались торчащие кости, — тогда и эти кости начали обламывать попутные дети, но Москва, чувствуя себя худой и все более уменьшающейся, терпеливо убежала дальше, лишь бы никогда не возвращаться в страшные покинутые места, откуда она убежала, лишь бы уцелеть, хотя бы в виде ничтожного существа из нескольких сухих костей... Она упала на жесткие камни и все, кто рвал и ел ее в бегстве, навалились на нее тяжестью.

Москва проснулась. Склонившись, ее обнимал Самбикин и пачкал кровью ее груди, шею и живот.

— Пить! — попросила Москва.

В операционной никого не было, своих помощниц-сестер Самбикин давно уснул, где-то в далеком углу шипела газовая горелка.

— Я теперь хромая, — сказала Честнова.

— Да, — ответил Самбикин, не оставляя ее. — Но это все равно, я не знаю, что сказать вам...

Он поцеловал ее в рот; изо рта выходил удушающий запах хлороформа, но он мог теперь дышать всем чем попало, что она выдыхала из себя.

— Обождите, я ведь больная, — попросила Честнова.

— Извините, — отстранился Самбикин. — Есть вещи, которые уничтожают все, это — вы. Когда я увидел вас, я забыл думать, я думал, что умру...

— Ну ладно, — неясно улыбнулась Москва. — Покажите мне мою ногу.

— Ее нет, я велел отослать ее себе домой.

— Зачем? Я ведь не нога...

— А кто же?

— Я не нога, не грудь, не живот, не глаза, — сама не знаю кто... Унесите меня спать.

На следующий день здоровье Москвы ослабело, начался жар и пошла кровавая моча. Самбикин стучал себя по голове, чтобы опомниться от любви, анализировал свое состояние физиологически и психически, смеялся, усиленно морща лицо, но ничего не мог достигнуть. Суета и напряжение работы оставили его, он ходил, как бездельник, по дальним улицам в одиночестве, занятый скучной неподвижной мыслью любви. Иногда он прислонялся головой к дереву на ночном бульваре, чувствуя нестерпимое горе, редкие слезы опускались по его лицу и он, стыдясь, собирал их языком вокруг рта и проглатывал.

Во вторую ночь Самбикин взял сердце и шейную железу умершего ребенка, приготовил из них таинственную суспензию и впрыснул ее в тело Честновой. Так как он спать почти не мог, то проблуждал по городу до рассвета, а утром встретил в клинике мать покойного мальчика, — она пришла брать своего покойного сына для похорон. Самбикин отправился с нею, помог ей в необходимых хлопотах, а после полудня уже шел рядом с худой, дрожащей женщиной за повозкой, где лежал мальчик с пустой грудью в гробу. Неизвестная, странная жизнь открылась перед ним — жизнь горя и сердца, воспоминаний, нужды в утешении и привязанности. Эта жизнь была настолько же велика, как и жизнь ума и усердной работы, но более безмолвна.

Москва Честнова поправлялась долго, она пожелтела и руки ее высохли от неподвижности. Но в окне она видела ветви какого-то дворового больничного дерева; ветви скреблись по оконному стеклу в течении долгих мартовских ночей, они зябли и тосковали, чувствуя срок наступающего тепла. Москва слушала движение влажного ветра и ветвей, постукивала им в ответ пальцем по стеклу и не верила ни во что бедное и несчастное на свете — не может быть! «Я скоро выйду к вам!» — шептала она наружу, прильнув ртом к стеклу.

Однажды в апреле, уже вечером, когда в клинике уже нужно было спать, Честнова услышала где-то далеко игру на скрипке. Она прислушалась и узнала музыку — это играл скрипач в том недалеком жакте, где жил Комягин. Изменяется время, жизнь и погода, — наступала весна, кооперативный музыкант играл еще лучше, чем прежде: Москва слушала и воображала ночные овраги в полях и птиц, летящих в нужде сквозь холодную тьму вперед.

Днем, как обычно, Москву часто навещали ее подруги по прошлой работе в земле; после операции приходил два раза треугольник шахты метрополитена и приносил ей торты в коробках за счет профсоюза.

«Выздоровлю, пойду замуж за Комягина, — думала Москва по ночам, слушая, как распространяется в огромном воздухе музыка жактовского скрипача. — Я теперь хромая баба!»

Ее выписали в конце апреля. Самбикин принес ей новые прочные костыли — на весь долгий путь остающейся жизни. Но идти Москве было некуда, она жила до больницы в сорок пятом общежитии метростроя, а теперь то общежитие куда-то перевели, она не знала.

Самбикин, открыв дверь автомобиля, ждал адреса, куда ее везти, но Москва улыбалась и молчала. Тогда Самбикин повез ее к себе.

Через несколько дней, не дожидаясь окончательного заживления раны на ноге Москвы, Самбикин уехал с нею на Кавказ, в дом отдыха на черноморском берегу.

Каждое утро, после завтрака, Самбикин провожал Москву на берег шумного моря и Москва часами смотрела в невозвратное пространство. «Уйду, уйду куда-нибудь», — шептала она одно и то же. Самбикин молчал близ нее, его внутренности болели, точно медленно сгнивали, и в опустевшей голове томилась одна нищая мысль любви к обедневшему, безногому телу Москвы. Самбикин стыдился такой своей жалкой жизни; в мертвые послеобеденные часы он уходил в горную рощу и там бормотал, ломал сучья, пел, умолял всю природу отвязаться от него и дать наконец покой и работоспособность, ложился в землю и чувствовал, как все это неинтересно.

Возвращаясь к вечеру, Самбикин зачастую даже не мог добраться до Честновой, настолько она была окружена вниманием, заботой и навязчивостью полнеющих на отдыхе мужчин. Уродство Москвы теперь было мало заметно — ей привезли протез из Туапсе и она ходила без костылей, с одной тростью, на которой все, кому Москва нравилась, уже успели вырезать свои имена и дату и нарисовать символы безумных страстей. Разглядывая свою трость, Москва понимала, что надо удавиться, если бы рисунки были искренними, знакомые люди рисовали в сущности только одно: как бы они хотели рожать от нее детей.

Один раз Москве захотелось винограда, но весной он не вырастает. Самбикин обходил колхозные окрестности, однако всюду виноград уже давно был превращен в вино. Москва сильно опечалилась — после потери ноги и болезни у нее появилась разная блажь, в виде нетерпенья по поводу какого-нибудь пустяка. Она, например, каждый день мыла себе голову, потому что все время чувствовала в волосах грязь и даже плакала от огорчения, что грязь никак не проходит. Когда Москва, как обычно, мыла однажды вечером голову над чашкой в саду, к изгороди подошел пожилой горец и стал молча смотреть.

— Дедушка, принеси мне винограду! — попросила его Москва. — Или у вас его нету?

— Нету, — ответил горный человек. — Откуда он теперь!

— Ну тогда не гляди на меня, — сказала Честнова. — Неужели у вас ни одной ягодки нету, ты же видишь — я хромая...

Горец ушел без ответа, а наутро Москва увидела его снова. Он дождался, когда Москва вышла на крыльцо дома, и подарил ей новую корзину, где под свежими листьями лежал бережно отобранный виноград, весом более пуда. После корзины горец подал Москве маленькую вещь — цветную тряпочку. Она развернула ее и увидела там человеческий ноготь с большого пальца. Она не понимала.

— Возьми, русская дочка, — объяснил ей старый крестьянин. — Мне шестьдесят лет, поэтому я дарю тебе свой ноготь. Если бы мне стало сорок, я бы принес тебе свой палец, а если б тридцать, я тоже отнял бы себе ту ногу, которой и у тебя нету.

Москва нахмурилась, чтоб спокойно сдержать свою радость, а потом повернулась, чтобы убежать, и упала, ударившись в камень порога неживым деревом ноги.

Горец не хотел знать про человека все, а только лучшее, поэтому он сейчас же ушел в свое жилище и больше не был никогда.

Прошло время отдыха и лечения, Москва оправилась окончательно и освоила деревянную ногу, как живую. По-прежнему каждый день ее провожал Самбикин на берег моря и оставлял одну.

Движение воды в пространстве напоминало Москве Честновой про большую часть ее жизни, о том, что мир действительно бесконечен и концы его не сойдутся нигде, — человек безвозвратен.

Ко дню обратного отъезда любовь Самбикина к Москве уже превратилась для него в такую умственную загадку, что Самбикин всецело принял за ее решение и забыл в своем сердце страдальческое чувство.

12

Сарториус потерял славу всесоюзного инженера; он целиком сосредоточился в делах малозаметного учреждения и его постепенно упустили из виду бывшие товарищи и знаменитые институты. Он все реже и реже ходил ночевать домой, оставаясь на отдых в том же учреждении, поэтому его по праву жительство выписали однажды из домовой книги, а вещи сдали в камеру при отделении милиции. Сарториус, поглощенный своей молчаливой жизнью, взял вещи из камеры, и свалил их в том углу, где обычно дремал трестовский сторож — в борьбе с возможным грабежом имущества. С тех пор учреждение окончательно стало для Сарториуса семейством, убежищем и новым миром: там он жил с верной девушкой Лизой, имел широкую дружбу с сослуживцами, и местком — во главе с Божко — оберегал его от всякого горя и несчастья.

Днем Сарториус был почти всегда счастлив и удовлетворен текущей работой, но по ночам, когда он лежал навзничь на папках старых дел, внутри его рождалась тоска, она вырастала из-под его нагрудных костей, как дерево поднималось к потолочному своду Старо-Гостинного двора и шевелилось там черными листьями. Так как Сарториус почти не умел мечтать, он мог лишь мучиться и наблюдать — что же это такое.

Ум его все более беднел, спина слабела от занятий, но Сарториус терпеливо выносил самого себя; лишь изредка у него болело сердце — настойчиво и долго, в далекой глубине тела, раздаваясь там, как темный вопиющий голос. Тогда Сарториус уходил за шкаф с давними делами и стоял в промежутке инвентаря некоторое время, пока не проходила в одиночестве и однообразии эта болящая скука чувства.

По ночам Сарториус спал мало. Он ходил в гости в семью машинистки Лизы, пил чай с нею и с небольшою метерью-старушкой, которая любила говорить о современной литературе, а особенно о путях развития изобразительных искусств, — и кротко улыбался от отчаяния. Иногда сюда же приходил и Виктор Васильевич Божко: когда-то, ранее Сарториуса, Лиза намечалась для Божко в качестве невесты, но увлекшись делами учреждения, житейской атмосферой со всеми сослуживцами, Божко не видел пока острой надобности уединиться квартирным браком и даже склонил Лизу на утешение Сарториуса. Польза и счастье сослуживца затмили для Божко стихию сердечных страстей, а очагом, согревающим его личную душу, ему

служил трест весов и гирь. Теперь, заставая Сарториуса и Лизу у общей старушки, Виктор Васильевич прилагал свое усердие к тому, чтобы они обручились; его прельщало то, что молодые люди и полюбя друг друга останутся в том же учреждении и профсоюзе и не выйдут из небольшой, но тесной системы весовой промышленности.

Если же Сарториус не посещал Лизу, он ходил много верст по городу, подолгу наблюдал, как вешают хлеб и овощ на электрических весах его конструкции, и вздыхал от теснящегося в нем, заунывного процесса неизменного существования. Затем, когда ночные пустые трамваи поспешно мчались в последние рейсы, Сарториус подолгу всматривался в чуждые непонятные лица редких пассажиров. Он ожидал увидеть где-нибудь Москву Честнову, ее милые волосы, свисающие вниз через раскрытое трамвайное окно, когда ее голова лежит на подоконнике и спит на ветру движения.

Он любил ее постоянно; ее голос звучал для него всегда в ближнем воздухе — стоило ему вспомнить любое слово Москвы и сейчас же он видел в своем воспоминании знакомый рот, верные нахмуренные глаза и теплоту ее кротких уст. Иногда она снилась Сарториусу, жалкая или уже усопшая, лежащая в бедности последний день перед погребением. Сарториус просыпался в горе и в жестокости и сейчас же принимался за какое-нибудь полезное дело в своем учреждении, чтобы затмить в себе столь печальную и неправильную мысль. Обычно же Сарториус снов не видел, не обладая способностью к пустому переживанию.

Почти одинаково, лишь с небольшими изменениями, прошло время в течении многих месяцев. Женщины давно оделись в теплые шапки, открылись катки, деревья на бульварах уснули, храня снег на ветвях до весны, электрические станции работали все более напряженно, освещая растущую тьму, — Москвы Честновой нигде не было: ни в натуре, ни по справкам в адресном столе.

Среди одного зимнего дня Сарториус посетил доктора Самбикина. Тот вернулся с ночной работы в клинике и сидел неподвижно, следя за течением очередной загадки в своем уме.

Странно, что оба товарища встретились после своей разлуки без радости, хотя Самбикин, как обычно, увидел в посещении Сарториуса многозначительное явление. Он даже озадачился.

Затем выяснилось, что Самбикин любил Москву бессмысленно и сознательно отошел от нее, чтобы решить в стороне всю проблему любви в целом, потому что это слишком серьезная задача, — бросаться же с головой в неизвестное дело недопустимо. И только после достижения ясности своего чувственного вопроса Самбикин думает встретиться с Москвой, чтобы прожить с ней остаток времени до смертного сожжения.

— Она теперь хромая, — сказал еще Самбикин, — и живет в комнате члена осодмила товарища Комягина. Фамилия ее тоже стала не Честнова.

— Зачем же ты ее бросил хромую и одну? — спросил Сарториус. — Ты ведь любил ее.

Самбикин чрезвычайно удивился:

— Странно, если я буду любить одну женщину в мире, когда их существует миллиард, а среди них есть наверняка еще большая прелесть. Это надо сначала точно выяснить, здесь явное недоразумение человеческого сердца — больше ничего.

Сарториус, узнав адрес Москвы, оставил Самбикина одного. Доктор не проводил Сарториуса до двери и сидел по-прежнему в полной задумчивости по поводу всех важнейших задач человечества, желая всемирной ясности и договоренности по всем пунктам счастья и страдания.

Вечером Семен Сарториус вошел во двор бауманского жакта, где жил Комягин. Институт Экспериментальной Медицины был достроен за забором дома и освещен чистым огнем электричества. У входа в домоуправление сидел старый нищий с лысой головой, а шапка его лежала на земле пустотою вверх и поперек нее лежал смычок от скрипки. Сарториус положил в шапку немного денег и спросил у бедняка: почему у него лежит смычок.

— Это мой знак, — сказал старый человек. — Я ведь собираю не милостыню, а пенсию: я всю жизнь с упоением играл в Москве, меня слышали здесь все поколения населения с удовольствием — пусть дают на харчи, пока смерти еще не время!

— А вы бы играли на скрипке — к чему побираться! — посоветовал Сарториус.

— Не могу, — отказался старик. У меня руки трепещут от волнения слабости. А это для искусства не годится — я халтурщиком быть не могу. Нищим — могу.

В длинном коридоре старого дома пахло еще долголетними остатками йодоформа и хлорной извести; здесь вероятно когда-то в гражданскую войну был госпиталь и лежали красноармейцы, — теперь живут жильцы.

Сарториус подошел к двери Комягина; за дверью слышался тихий голос Москвы Честновой; должно быть она лежала в постели и говорила с мужем-сожителем.

— Ты помнишь, я тебе рассказывала, как я в детстве видела темного человека с горящим факелом — он бежал ночью по улице, а была темная осень и такое низкое небо, что некуда... дышать...

— Помню, — сказал мужской голос. — Я же тебе давал указания, как я бегал тогда на врагов: это был я.

— Тот был старый, — грустно сомневалась Москва.

— Пускай старый. Когда человек живет в виде маленькой девчонки, ей шестнадцатилетний кажется пожилым стариком.

— Это верно, — произнесла Москва; ее голос был немного лукав, немного печален, точно она была сорокалетней женщиной 19 века и дело шло в большой квартире. — Ты теперь сгорел и обуглился.

— Вполне правильно, Муся, — сказал Комягин; он ее звал сокращенно. — Я исчезаю, я старая песня, мой маршрут кончается, я скоро свалюсь в овраг личной смерти...

Муся промолчала, потом сказала:

— И птица, какая пела твою песню, давно улетела в теплые края. Ты какой-то весь жалкий человек, как бывший мужик!

— Истерся весь, — ответил Комягин. — Все понятно. Теперь ничего не люблю, кроме порядочка в нашей республике.

Муся кротко засмеялась, как она умела.

— Ты рядовой запаса второго разряда! Как я тебя встретила такого среди огромного количества?

Он объяснил:

— А мир ведь не очень велик, я два раза специально вдумывался в это. Когда на глобус глядишь или на карту, кажется — много, а так — не очень, и все ведь учтено и записано: можно в полчаса глазами пробежать весь регистр населения и территории — с именем, отчеством, фамилией и основными данными характеристики!

В коридоре потух свет благодаря наступлению какого-то максимального времени ночи и экономическому надзору уполномоченного по энергии. Сарториус прислонился головой к холодной канализационной трубе, которую когда-то обнимала Москва, и слышал в ней с перерывами потоки нечистот верхних этажей.

— И даже хорошо, что вся земля мала: на ней можно смиренно жить! — говорил Комягин. Муся-Москва молчала. Наконец стукнула ее деревянная нога. Сарториус понял, что она села.

— Комягин, неужели ты был большевиком? — спросила она.

— Ну зачем — не был, нет никогда!

— А почему тогда ты с факелом бежал в семнадцатом году, когда я еще только росла?

— Нужно было, — сказал Комягин. — В то время не было же ведь ни милиции, ни осодмила — тем более. Жителям приходилось самообороняться ото всех врагов.

— А где мы жили и ты, — там были почти нищие и одни голодающие... У моего отца имущество стоило рубля три, и то его надо было сорвать с тела и вырвать из пуза, — чего вы сторожили, дураки, зачем ты с факелом бежал?

— Инспектором самоохраны был, бежал — посты проверял... Когда всего мало, то значит бедность, а ее надо охранять тем более, это самое дорогое, деревянная ложка делается серебрянной! Вот тебе что!

— А стрельнул кто и в тюрьме крик голосов начался?.. Ты мне не ври!

— Чего врать! Правда — хуже. Стрельнул одинокий /тайный/ хулиган, а в тюрьме митинг был, там кормили хорошо и никто на волю не уходил — приходилось с боем выдворять на свободу. Я тоже щи там ел у надзирателя по знакомству.

Москва долго снимала одежду, сопела и шевелила деревянной ногой, — она наверно укладывалась до утра.

Сарториус ждал в страхе дальнейшего конца. По коридору изредка ходили жильцы в общую уборную, но к чужому человеку в темноте они не присматривались, как привычные ко многим и всяким непонятым явлениям.

— Ты слепой в крапиве, — сказала Москва за дверью. — Не ложись со мной, гадость такая!

— Скрепишь, деревянная нога! — терпеливо указал ей Комягин. — Ты жизни нашей сугубой не знаешь...

— Нет, я знаю. Убить тебя надо, вот в чем жизнь.

— погоди, я ни одного дела не доделал, важнейших мыслей не додумал...

— Ну когда ж ты успеешь это, ведь ты стареешь... На что ты надеешься?

Комягин скромно сообщил, что он надеется выиграть по займу несколько тысяч рублей и тогда одумается от мыслей и закончит все начатые дела.

— Но ведь это может нескоро будет! — печально говорила Москва.

— Если даже за час до смерти, и мне достаточно! — определил Комягин. — Все равно, хоть и не выиграю, хоть и не сделаю свою жизнь нормальной, все равно — я решил — как почувствую естественную погибель, так примусь за все дела и тогда все закончу и соображу — в какие-нибудь одни сутки, мне больше не надо. Даже в час можно справиться со всеми житейскими задачами!.. В жизни ничего особенного нету — я специально думал о ней и правильно это заметил. Ведь это только так кажется, что нужно жить лет сто и едва лишь тебе хватит такого времени на все задачи! Отнюдь неверно! Можно прожить попусту лет сорок, а потом сразу как приняться за час до гроба, так все исполнить в порядочке, зачем родился!..

Они больше не говорили. Комягин, судя по звукам, улегся на полу и долго вздыхал от огорчения, что время идет, а дела его стоят. Сарториус стоял в унынии, не имея никакого решения. Он слышал, как кто-то запер наружную входную дверь и ушел спать в свою комнату последним человеком. Но Сарториус не боялся пробыть всю ночь во тьме коридора; он ждал — не умрет ли вскоре Комягин, чтобы самому войти в комнату и остаться там с Москвой. Он не спал в ожидании, наблюдая в темной тишине, как постепенно следует время ночи, полное событий. За третьей дверью, считая от канализационной трубы, начались закономерные звуки совокупления; настенный бачок пустой уборной сипел воздухом, то сильнее, то слабее, знаменуя работу могучего водопровода; вдалеке, в конце коридора, одинокий жилец принимался несколько раз кричать в ужасе сновидения, но утешить его было некому и он успокаивался самостоятельно; в комнате напротив двери Комягина, кто-то, специально проснувшись, молился богу шепотом: «Помяни меня, господи, во царствии твоём, я ведь тоже тебя поминаю, — дай мне что-нибудь фактическое, пожалуйста прощу!» В других номерах коридора также происходили свои события — мелкие, но непрерывные и необходимые, так что ночь была загружена жизнью и действием равносильно дню. Сарториус слушал и понимал, насколько он беден, обладая лишь единственным, замкнутым со всех сторон туловищем: Москва и Комягин спали за дверью; укрошено билось их сердце и по коридору слышалось всеобщее мирное дыхание, точно в груди каждого была одна доброта.

Сарториус томился. Он осторожно постучал в дверь, чтобы кто-нибудь проснулся и что-нибудь произошло. Чуткая Москва заворочалась и позвала Комягина. Тот отозвался в раздражении: что ей надо ночью, когда и днем от него пользы нет.

— Проверь свои облигации, — сказала Москва. — Зажги свет.

— А что? — испугался Комягин.

— Может быть ты выиграл... Если выиграл — начнешь жить по правилу, если нет — ляжешь и умрешь. Ты один такой в Советском Союзе, как тебе не стыдно!

Комягин с напряжением собирал ослабевшие мысли в своей голове.

— Что мне такое Советский Союз — Советский Союз! Про него все теперь бормочут, а я живу в нем, как в теплоте за пазухой...

— Хватит тебе жить, умри по-геройски, — как ехидна, настойчиво предлагала Москва.

Комягин размышлял: ничего особенного, в самом деле, не будет, если даже умереть, — уже тысячи миллиардов душ вытерпели смерть и жаловаться никто не вернулся. Но жизнь его видимо еще сковывала своими костями, заросшим мясом и сетями жил — слишком надежна и привычна была механическая прочность собственного существа. Он полез на коленях в свои незавершенные архивы и начал листовать облигации, а Москва читала ему перечень выигранных серий по сборнику Наркомфина. Выигрыш нашелся лишь в сумме десяти рублей, но так как у Комягина была лишь четверть этой удачной облигации, то чистого дохода ему причиталось два с половиной рубля: жизнь лишь незначительно усугублялась, а итоги ее опять свести было нельзя безубыточно.

— Ну что теперь будешь? — спросила Москва.

— Умру, — согласился Комягин. — Жить не приходится. Отнеси завтра в отделение милиции книжку штрафных квитанций — тебе рублей пять процентов отчислится: станешь кормиться после меня.

Он затем лег на что-то и умолк.

Вскоре Москва снова прошептала вопрос:

— Ну как, Комягин? — она звала его по одной фамилии, как чужого. — Ты опять спишь, а потом проснешься?

— Едва ли, — ответил Комягин, — я сейчас задумался... Что если б я в осодмиле лет десять еще поработал — я бы так научился в народ дисциплину наводить, мог потом Чингизханом быть!

— Кончай свой разговор! — рассердилась Москва. — Авантюрист! Время себе у государства ворует!

— Нет, — отказался Комягин и нежно произнес: — Мусь, поласкай меня, я тогда скорей исчахну, к утру ангелом буду — умру.

— Я тебе вот поласкаю! — грозно отозвалась Москва. — Я тебя сейчас деревянной ногой растопчу, если ты не издохнешь!

— Ну конечно, конечно! Говорят, перед смертью надо всю жизнь припомнить — ты не ругайся, я ее вспомню срочно.

Наступило молчание, пока в уме Комягина очередью проходили долгие годы его существования.

— Вспомнил? — поторопила вскоре Москва.

— Нечего вспоминать, — сказал Комягин. — Одни времена года помню: осень, зиму, весну, лето, а потом опять осень, зиму... В одиннадцатом и двадцать первом году лето было жаркое, а зима голая, без снега, в шестнадцатом — наоборот — дожди залили, в семнадцатом осень была долгая, сухая и удобная для революции... Как сейчас помню!

— Но ты же много любил женщин, Комягин, это наверно твое счастье было.

— Какое тебе счастье в человеке вроде меня! Не счастье, а бедность одного вождения! Любовь ведь горькая нужда, более ничего.

— Ты ведь не очень глуп, Комягин!

— По-среднему, — согласился Комягин.

— Ну довольно, — сказала Москва ясным голосом.

— Довольно, — так же сказал Комягин.

Они снова умолкли, уже надолго. Сарториус равнодушно ожидал за дверью жилища, пока Комягин погибнет, чтобы войти в комнату. Он чувствовал, как у него начинают болеть глаза от тьмы и долгого мучения сердца.

Наконец Комягин попросил, чтобы Муся укрывала ему голову одеялом потуже и обвязала пониже то одеяло бечевой, чтобы оно не сползло. Москва сошла с кровати деревянной ногой и укутала Комягина как нужно, затем улеглась обратно со вздохами.

Ночь длилась как стоячая. Сарториус сел на пол в усталости: еще никто не проснулся в коридоре, утро еще находилось где-нибудь над зеркалом Тихого океана. Но все звуки прекратились, события, видимо, углубились в середину тел спящих, зато одни маятники часовыходиков стучали по комнатам во всеуслышание, точно шел завод важнейшего производства. И действительно, дело маятников было важнейшее: они сгоняли накапливающееся время, чтобы тяжелые и счастливые чувства проходили без задержки сквозь человека, не останавливаясь и не губя его окончательно.

В комнате Комягина маятник не постукивал; оттуда слышалось одно чистое, ровное дыхание уснувшей Москвы; другого дыхания слышно не было — Сарториус не мог его уловить. Подождав еще немного, он постучал в дверь.

— Кто там? — сразу спросила Москва.

— Я, — сказал Сарториус.

Не вставая, Честнова скинула крючок пальцем целой ноги.

Сарториус вошел. В комнате горел свет, не потушенный со времени проверки облигаций. На полу, на постилке лежал Комягин с головою, наглухо завернутой в толстое одеяло; кругом груди одеяло держалось тонкой впивающейся веревкой. Москва была одна на кровати, покрытая простыней; она улыбнулась Сарториусу и стала с ним беседовать. Потом Сарториус спросил ее:

— Как ты сюда попала, в чужую комнату, и зачем?

Москва ответила, что ей некуда было деться. Самбикин сначала любил ее, но потом задумался над ней, как над проблемой и непрерывно молчал. Ей и самой стало совестно жить среди прежних друзей, в общем убранном городе, будучи хромой, худой и душевной психичкой, поэтому она решила укрыться у своего бедного знакомого, чтобы переждать время и снова повеселеть.

Она сидела на кровати, Сарториус находился рядом с ней. Вскоре она опустила свое побледневшее лицо, ее большие темные волосы укрыли ее щеки и она заплакала в чаше своих кос. Сарториус начал успокаивать ее посредством объятий, но ей это было все равно; она стыдилась и глубоко прятала свою деревянную ногу под юбку.

— Он спит? — спросил Сарториус про Комягина.

— Не знаю, — сказала Москва. — Может быть умер, — он сам хотел. Попробуй его ноги.

Сарториус попробовал концы ног Комягина, они были одеты, как в галстуки, в остатки носков — целы были только верхние части, а подошвы и пальцы обнажились наголо. Пальцы ног и пятки оказались холодными до самых костей и все тело лежало в беспомощном положении.

— Наверно умер, — сказал Сарториус.

— Пора ему, — тихо произнесла Москва.

Сарториус молча обрадовался, что никого нет живого в помещении, кроме него с прежней, любимой Москвой, еще более милой и сердечной для него, что счастье и слава ее временно остановились, оттого перед нею все опять лишь впереди, и у него не было никакого сожаления к Комягину. Ночь шла давно, оба они утомились и легли рядом лежать на постели.

Комягин был неподвижен на далеком полу; чтобы не запачкать постилки, ему Москва еще с вечера наложила на пол старые «Известия» 1927 года и теперь свет освещал сообщения о минувших событиях. Сарториус обнял Москву и ему стало хорошо.

Часа через два по коридору пошли ходить люди, готовясь к службе и работе. Сарториус очнулся и сел на кровати; Москва спала рядом и лицо ее во сне было смиренное и доброе, как хлеб, — не совсем похожее на обычное. Комягин лежал в прежнем виде, электричество горело ярко и освещало всю комнату, где все требовало переделки или окончания. Сарториус понял, что любовь происходит от не изжитой еще всемирной бедности общества, когда некуда деться в лучшую, высшую участь. Он потушил свет и лег, чтобы опомниться от наступившего состояния.

Слабый свет, точно лунный, начал распространяться по стене над дверью, проникая через окно с утреннего неба, и когда он озарил всю комнату, в ней стало еще более тесно и грустно, чем ночью при огне.

Сарториус подошел к окну; за ним был виден зимний дымный город; очередной рассвет пробирался по обвисшему животу равнодушной тучи, из которой нельзя ждать ни ветра, ни грозы. Но миллионы людей уже зашевелились на улицах, неся в себе разнообразную жизнь; они шли среди серого света трудиться в мастерские, задумываться в конторах и чертежных бюро, — их было много, а Сарториус был один, неразлучно с собою никогда. Душа и мысль его, заодно с однообразным телом, было устроены до смерти одинаково.

Мертвец Комягин лежал свидетелем вновь сбывшейся любви Сарториуса /случившихся комнатных событий/, но не двигался и не завидовал; Москва спала в отчуждении, повернувшись к стене прелестным лицом.

Сарториус испугался, что ему изо всего мира досталась лишь одна теплая капля, хранимая в груди, а остального он не почувствует и скоро ляжет в угол, подобно Комягину. Сердце его стало как темное, но он утешил его обыкновенным понятием, пришедшим ему в ум, что нужно исследовать весь объем текущей жизни посредством превращения себя в прочих людей. Сарториус погладил свое тело по сторонам, обрекая его перемучиться на другое существование, которое запрещено законом природы и привычкой человека к самому себе. Он был исследователем и не берег себя для тайного счастья, а сопротивление своей личности предполагал уничтожить событиями и обстоятельствами, чтобы по очереди в него могли войти неизвестные чувства других людей. Раз появился жить, нельзя упустить этой возможности, необходимо вникнуть во все посторонние души — иначе ведь некуда деться; с самим собою жить нечего, и кто так живет, тот погибает задолго до гроба /можно только вытаращить глаза и обомлеть от идиотизма/.

Сарториус прислонился лицом к оконному стеклу, наблюдая любимый город, каждую минуту растущий в будущее время, взволнованный работой, отрекающийся от себя, бредущий вперед с неузнаваемым и молодым лицом.

— Что я один?! Стану как город Москва.

Комягин пошевелился на полу и вздохнул своим же надышанным воздухом.

— Муся! — позвал он в неуверенности. — Я застыл здесь внизу: можно я к тебе лягу?

Москва открыла один глаз и сказала:

— Ну ложись!

Комягин начал освобождаться от удушающего его одеяла, а Сарториус ушел за дверь и в город без прощанья.

Он стал как неживой некоторое время. К машинистке Лизе он ходить перестал, потому что она твердо вышла замуж за Виктора Васильевича Божко, а трест весов и гирь был обращен к своей ликвидации и весь опустошен от служащих. Одна только курьерша жила в безлюдном, охладелом помещении учреждения — у нее родился ребенок и она кормила его и содержала на мягкой пачке устарелых дел.

Сарториус дважды посетил свою старую службу, посидел за круглым столом, попробовал набросать проект взвешивания чего-то невесомого и не почувствовал никакого ощущения, ни печали, ни удовольствия. Все кончилось — служебное семейство, отводившее душу людям, было распушено, общий чайник больше не согрелся к двенадцати часам и стаканы стояли в шкафу пустыми, постепенно заселяемые мелочью каких-то бумажных бледных насекомых. Ребенок курьерши то плакал, то утешался, часы-ходики шли над ним вперед и мать его ласкала с обычной материнской любовью. Она со страхом ждала въезда в помещение нового учреждения, потому что ей негде было жить, но то новое учреждение накануне своего переезда

тоже было ликвидировано, так что площадь зачислили в резерв жилфонда и впоследствии заселили семейными жильцами.

Сарториус стал видеть все более плохо, его глаза слепли. Он пролежал в своей комнате целый месяц, прежде чем начал опять понемногу смотреть наболевшим зрением. Курьерша из бывшего треста приходила к нему через день, приносила пищу и вела хозяйство.

Два раза его посетил Самбикин с глазным врачом, и они вынесли свое медицинское заключение, что глаза имеют причиной своего заболевания отдаленные недра тела, возможно — сердце. Вообще, сказал Самбикин, конституция Сарториуса находится в процессе неопределенного /разрушения/ превращения, и сам озадачился этой мыслью на многие дни.

Наконец Сарториус вышел из дома. Его обрадовало многолюдство на улице; энергия мчавшихся машин зародила в его сердце воодушевление, непрерывное солнце светило на открытые волосы прохожих женщин и в свежие древесные листья деревьев, вымокшие во влаге своего рождения.

Опять наступила весна; время все более удаляло жизнь Сарториуса. Он часто моргал от ослепления светом и наталкивался на людей. Ему было хорошо, что их так много, что, следовательно, ему существовать необязательно — есть кому и без него сделать все необходимое и достойное.

Одно тяжелое и темное чувство владело им. Он нес свое тело как мертвый вес, — надоевшее, грустное, пережитое до бедного конца. Сарториус вглядывался во многие встречные лица; его томила, как бледное наслаждение, чужая жизнь, скрытая в неизвестной душе. Он сторонился и тосковал.

Десять тысяч народа приблизительно находилось в движении на Каланчевской площади. Сарториус с удивлением остановился около таможни в удивлении, точно никогда не видел такого зрелища.

«Сейчас скроюсь и пропаду среди всех!» — неопределенно и легко думал он о своем намерении.

К нему подошел какой-то туманный человек, которого нельзя запомнить и забудешь.

— Товарищ, вы не знаете, где здесь начинается Доминиковский переулок? Может, знаете случайно, я тоже знал, но потерял нить.

— Знаю, — сказал Сарториус, — он вон где! — И показал направление, вспоминая этот знакомый голос и не помня такого лица.

— А не знаете, есть там производство гробов, или уже оно куда-то переведено в связи со строительством и реорганизацией? — продолжал узнавать прохожий.

— Неизвестно... Кажется что-то есть, гробы и венки, — объяснял Сарториус.

— А транспорт?

— Наверное есть.

— Должны быть автомобили с тихим ходом.

— Возможно. Едут на первой скорости и везут покойника.

— Ну да, — согласно произнес тот человек, не понимая первой скорости.

Они замолчали. Прохожий со страстью поглядел на людей, цепляющихся в трамваи на ходу, и даже сделал по направлению к ним одно неопределенное движение ярости.

— Я вас знаю, — сказал Сарториус, — я помню ваш голос.

— Вполне вероятно, — равнодушно сознался человек. — Мне многих приходилось штрафовать за нарушения, и при этом кричишь, как понятно.

— Может быть я вспомню: как вас зовут?

— Имя — ничто, сказал прохожий. — Важен точный адрес и фамилия, и то мало: надо предъявить документ.

Он вынул паспорт и Сарториус прочел в нем фамилию: Комягин пенсионер, и адрес. Человек ему был неизвестен.

— Мы с вами чужие, — произнес Комягин, видя разочарование Сарториуса. — Вам показалось только. Это часто что-то кажется серьезное, а потом — ничего. Ну, вы стойте здесь, я пойду узнаю про гроб.

— У вас жена умерла? — спросил Сарториус.

— Жива. Она сама ушла. Гроб я гадаю для себя.

— Но зачем?

— Как зачем? — необходимо. Я хочу узнать весь маршрут покойника: где брать разрешение для отрытия могилы, какие нужны факты и документы, как заказывается гроб, потом транспорт, погребение и чем завершается в итоге баланс жизни: где и по какой формальности производится окончательное исключение человека из состава граждан. Мне хочется заранее пройти по всему маршруту — от жизни до полного забвения, до бесследной ликвидации любого существа. Говорят, что этот маршрут труден по форме. И верно, дорогой товарищ: умирать не надо, граждане нужны... А вы видите, что делается на площади: граждане мечутся, нормально ходить не приучаются. Сколько раз в свою бытность товарищ Луначарский проповедывал ритмическое движение масс, а теперь приходится их штрафовать. Прозаика жизни! Да здравствует героическая милиция республики!

Комягин ушел на Доминиковский переулок. Кроме Сарториуса, его заслушали еще четверо посторонних и один бродячий ребенок. Этот ребенок, лет двенадцати, пошел скорой походкой вслед за Комягиным и заявил ему созревшим голосом:

— Гражданин, ты все равно умирать идешь, отдай мне домашние вещи — я им ножки приделаю.

— Ладно, — сказал Комягин. — Пойдем со мною, ты унаследуешь мою утварь, а свою часть жизни я возьму с собою дальше. Прощай моя жизнь — ты прошла в организационных наслаждениях.

— Ты добрый, что умираешь, — благодушно произнес разумный ребенок. — А мне для карьеры средства нужны...

Душа Сарториуса испытывала страсть любопытства. Он стоял с сознанием неизбежной бедности отдельного человеческого сердца; давно удивленный зрелищем живых разнообразных людей, он хотел жить жизнью чужой и себе не присущей.

Возвращаться ему было необязательно — жилище его пусто, трест ликвидирован, родные сослуживцы поступили в обжитые места других учреждений, Москва Честнова пропадала где-то в пространстве этого города и человечества — от этих обстоятельств Сарториусу становилось веселее. Основная обязанность жизни — забота о личной судьбе, ощущение собственного, постоянно вопиющего чувствами тела — исчезла, быть непрерывным, одинаковым человеком он не мог, в нем наступала тоска.

Сарториус сделал движение рукой — по универсальной теории мира выходило, что он совершил электромагнитное колебание, которое взволнует даже самую дальнюю звезду. Он улыбнулся над таким жалобным и бедным представлением о великом свете. Нет, мир лучше и таинственней: ни движение руки, ни работа человеческого сердца не беспокоят звезд, иначе все давно бы расшаталось от содрогания этих пустяков.

Сарториус прошел сквозь встречный народ по площади, увидел одну работницу метростроя в рабочих штанах — такую же по фигуре, как Москва Честнова, и глаза его заболели от воспоминания любви; жить нельзя неизменным чувством. Он попробовал уговорить метростроевку на предварительную дружбу, но она засмеялась и поспешила от него, грязная и красивая.

Сарториус вытер свои слепнущие глаза, потом хотел уговорить свое сердце, заболевшее по Москве и по всем прочим существам, но увидел, что размышление его не действует. Но от неуважения к себе страдание его было нетрудным.

Бродя по городу далее, он часто замечал счастливые, печальные или загадочные лица и выбирал, кем ему стать. Воображение другой души, неизвестного ощущения нового тела на

себе не оставляло его. Он думал о мыслях в чужой голове, шагал несвоей походкой и жадно радовался пустым и готовым сердцем. Молодость туловища превращалась в вожделение ума Сарториуса; улыбающийся, скромный Сталин сторожил на площадях и улицах все открытые дороги свежего, неизвестного социалистического мира, — жизнь простиралась в даль, из которой не возвращаются.

Сарториус поехал на Крестовский рынок, чтобы купить нужное для своего будущего существования. Он сильно заботился о своей новой жизни.

Крестовский рынок был полон торгующих нищих и тайных буржуев, в сухих страстях и риске отчаяния добывающих свой хлеб. Нечистый воздух стоял над многолюдным собранием стоящих и бормочущих людей, — иные из них предлагали скудные товары, прижимая их руками к своей груди, другие хищно приценились к ним, шупая и удручаясь, рассчитывая на вечное приобретение. Здесь продавали старую одежду девятнадцатого века, пропитанную порошком, сбереженную десятилетиями на осторожном теле; здесь были шубы, прошедшие за время революции столько рук, что меридиан земного шара мал для измерения их пути между людьми; в толпе торговали еще и такими вещами, которые потеряли свой смысл жизни, — вроде капотов каких-то чрезвычайных женщин, поповских ряс, украшенных чаш для крещения детей, сюртуков усопших джентельменов, брелоков на брюшную цепочку и прочего, — но шли среди человечества как символы жесткого качественного расчета. Кроме того, много продавалось носильных вещей недавно умерших людей, — смерть существовала, — и мелкого детского белья, заготовленного для зачатых младенцев, но потом мать, видимо, передумывала рожать и делала аборт, а оплаканное мелкое белье нерожденного продавала вместе с заранее купленной погребушкой.

В специальном ряду продавались оригинальные портреты в красках, художественные репродукции. На портретах изображались давно погибшие мещане и женихи с невестами уездных городов; каждый из них наслаждался собою, судя по лицу, и выражал удовлетворение происходящей с ним жизнью. Позади фигур иногда виднелась церковь в ландшафте /природе/ и росли дубы счастливого лета, всегда минувшего.

Сарториус долго стоял перед этими портретами прошлых людей. Теперь их надмогильными камнями вымостили тротуары новых городов и третье или четвертое краткое поколение топчет где-нибудь надписи: «Здесь погребено тело купца 2-ой гильдии города Зарайска, Петра Никодимовича Самофалова, полной жизни его было... Помяни мя господи во царствии твоём» — «Здесь покоится прах девицы Анны Васильевны Стрижевой... Нам плакать и страдать, а ей на господу взирать...»

Вместо бога, сейчас вспомнил умерших Сарториус и содрогнулся от ужаса жить среди них, — в том времени, когда не сводили лесов, убогое сердце было вечно верным одинокому чувству, в знакомстве состояла лишь родня и мировоззрение было волшебным и терпеливым, а ум скучал и плакал по вечерам при керосиновой лампе или в светящий полдень лета — в обширной, шумящей природе; когла жалкая девушка, преданная, верная, обнимала дерево от своей тоски, глупая и милая, забытая теперь без звука. Она не Москва Честнова, она Ксения Иннокентьевна Смирнова, ее больше нет и не будет.

Далее продавали скульптуры, чашки, тарелки, таганы, вилки, части от какой-то баллюстрады, гирию в двенадцать пудов, сидели на корточках последние частные москательщики, уволенные разложившиеся слесаря загоняли свои домашние тиски, дровяные колуны, молотки, горсть гвоздей, — еще далее простирались сапожники, делающие работу на месте, и пищевые старухи с холодными блинами, с пирожками, начиненными мясными отходами, сальниками, согретыми в чугунах под ватными пиджаками покойных мужей-стариков, с кусками пшенной каши и всем, что утоляет голодное страдание местной публики, могущей есть всякое добро, которое только бы глоталось и более ничего.

Незначительные воры ходили между нуждающимися и продающими, они хватили из рук ситец, старые валенки, булки, одну калошу и убежали в дебри бродящих тел, чтобы заработать

полтинник или рубль на каждом похищении. В сущности они с трудом оправдывали ставку чернорабочего, а изнемогали больше.

Среди рынка возвышалось несколько деревянных будок для милиционеров. Милиционеры смотрели оттуда вниз, в это мелкое море бушующего ограниченного империализма, где трудящихся заменили, но были трущиеся.

Дешевая пища с заметным шумом переваривалась в людях, поэтому каждый себя чувствовал с тягостью, словно был сложным предприятием, и нечистый воздух восходил отсюда вверх, как дым над Донбассом.

В глубине базара часто раздавались возгласы отчаяния, однако никто не бросался на помощь, и вблизи бедствия люди торговали и покупали, потому что их собственное горе требовало неотложного утешения. Одного слабого человека, одетого в старосолдатскую шинель, торговка булками загнала в мочевую лужу около отхожего места и стегала его по лицу тряпкой; на помощь торговке сразу появился кочующий хулиган и сразу разбил в кровь лицо ослабевшего человека, свалившегося под отхожий забор. Он не издал крика и не тронул своего лица, заливаемого кровью с висков, — он спешно съедал сухую похищенную булку, мучаясь сгнившими зубами, и вскоре управился с этим делом. Хулиган дал ему еще один удар в голову, и раненый едок, вскочивший с энергией силы, непонятной при его молчаливой кротости, исчез в гуще народа, как в колосьях ржи. Он найдет себе пищу повсюду и будет долго жить без средств и без счастья, зато часто наедаясь.

Пожилой мужчина демобилизованного вида стоял на одном месте неподвижно, раскачиваемый лишь ближней суетою. Сарториус заметил его уже во второй раз и подошел к нему.

— Хлебные карточки, — сказал после некоторой бдительности наблюдения Сарториуса тот неподвижный мужчина.

— Сколько стоит? — спросил Сарториус.

— Двадцать пять рублей первая категория.

— Ну давай одну штуку, — попросил Сарториус.

Торгующий осторожно вынул из бокового кармана конверт с напечатанной надписью на нем: «Полная программа Механобра». Внутри программы была заложена заборная карточка.

Тот же торговец предложил Сарториусу и паспорт, если он требуется, но Сарториус приобрел себе паспорт позже — у человека, продававшего червей для рыбной ловли. В паспорте был записан уроженец города Нового Оскола Иван Степанович Груняхин, 31 года, работник прилавка, командир взвода в запасе. Сарториус заплатил за документ всего лишь шестьдесят пять рублей и вдобавок отдал свой паспорт двадцатисемилетнего человека, с высшим образованием, известного в широких кругах своей специальности.

С базара Груняхин не знал куда идти. Он доехал до большой площади и сел на железную перекладину лестницы, ведущей в будку регулирования уличного движения. Светофоры меняли свой свет, неслись люди в машинах, грузовики везли палки и бревна, милиционер двигал контакт и напрягал внимание, — многие неизвестные люди стояли по сторонам бегущего движения и забывали свою одинокую жизнь в наблюдении чужой. Груняхину казалось, что глаза его больше не болят и Москва Честнова не потребует ему никогда, ибо много хороших женщин ходило здесь через дорогу, но сердце его ни к кому не лежало.

К вечеру он поступил в орс одного незначительного завода в Сокольниках, делавшего какое-то подсобное оборудование, и новому работнику дали место в общежитии, поскольку человек не имел ничего, кроме своего небольшого одетого тела с круглым и по виду неумным лицом наверху.

Через несколько дней Груняхин уже вошел в страсть своей работы: он ведал заготовкой хлеба к обеду, нормировкой овощей в котел и рассчитывал мясо, чтобы каждому досталось по справедливому куску. Ему нравилось кормить людей, он работал с честью и усердием, кухонные весы его блестели чистотой и точностью, как дизель.

По вечерам, томимый одиночеством и свободой, Груняхин скитался по бульварам до последних трамваев. Когда же наступал час ночи и вагоны на большой скорости спешили в

парк, Иван Груняхин садился в их пустынные помещения и оглядывал их с интересом, точно тысячи людей, бывшие здесь днем, оставили свое дыхание и лучшее чувство на пустых местах. Кондукторша, иногда старая, иногда молодая, милая и сонная, сидела здесь одна и дергала бечеву на безлюдных остановках, чтобы скорее кончился последний маршрут.

Став вторым человеком своей жизни, Груняхин подходил к кондукторше и заговаривал с ней о постороннем, не имеющем отношения ко всей окружающей видимой действительности, но зато она начинала чувствовать в себе невидимое. Одна кондукторша с прицепного вагона согласилась на слова Груняхина и он обнял ее на ходу, а потом они перешли в задний тамбур, где видно более смутно, и неслись в поцелуях три остановки, пока их не заметил какой-то человек с бульвара и не закричал им «ура!».

С тех пор он изредка повторял свое знакомство с ночными кондукторшами, — иногда удачно, но чаще всего нет. Однако его все более занимала не такая частная, текущая бесследно любовь, а неизвестный человек Груняхин, судьба которого поглощала его.

Работая далее в орсе, он постепенно увлекся своим трудом и окружением и начал даже упиваться жизнью. Он приобрел себе шкаф, наполнил его книгами и стал изучать мировую философию, наслаждаясь всеобщей мыслью и тем, что добро в мире неизбежно, даже скрыться от него никому нельзя. Законы золотого правила механики и золотого сечения по большому кругу действовали всюду и постоянно. Выходило, что благодаря лишь действию одной природы маленькая работа всегда даст большие успехи и каждому достанется кусок из золотого сечения — самый громадный и сытный. Следовательно, не только труд, но и ухищрение, уместность и душа, готовая на упоение счастьем, определяли судьбу человека. Еще Архимед и александриец Герон ликовали по поводу золотых правил науки, которые обещали широкое блаженство человечеству: ведь одним граммом на неравноплечном рычаге можно поднять тонну, даже целый земной шар, как рассчитывал Архимед. Луначарский же предполагал зажечь новое солнце, если нынешнее окажется недостаточным или вообще надоевшим и некрасивым.

Утешенный чтением, Иван Груняхин работал хорошо на производстве. В течение одного месяца он, по указанию начальника орса, целиком изменил унылое убранство столовой на роскошное и влекущее. Груняхин заключил на год договор с трестом зеленого строительства, а так же с Мосмебелью и другими организациями. Он поставил сменные горшки с цветами и постелил ковровые дорожки; затем усилил циркуляцию воздуха и сам починил электромотор для второго, испорченного вентилятора, с трудом вспомнив электротехнику и более не интересуясь ею. На стенах столовой и сборочного цеха Груняхин повесил крупные картины с изображением эпизодов доисторической жизни: падение Трои, поход аргонавтов, смерть Александра Македонского, — директор завода похвалил его за вкус.

— Нам нужно, чтоб было загадочно и хорошо, как будто несбыточно, — сказал директор Груняхину. — Но это все пустяки по сравнению с нашей реальностью! Однако — пусть висит: история раньше была бедна и спрашивать с нее много нечего.

Под влиянием общего приличия и благополучия Груняхин застыдилась и начал приобретать в свое личное пользование нижнее белье, ботинки, фрукты, и стал уже мечтать о любящей, единой жене. Иногда он вспоминал о прошлом бедном тресте весов и гирь, когда он еще был Сарториусом, — там было грустно и тепло от своего сердца и жены не требовалось; но теперь, став другим человеком, Груняхину нужно было хотя бы искусственное согревание семьей и женщиной.

В цехе новых конструкций работал старшим монтером Константин Арабов, человек лет тридцати, член общества Динамо, превосходный собою, знавший наизусть Пушкина. Его встречал несколько раз дежурный инженер Иван Степанович Груняхин, но не обращал внимания, — как часто бывает, что люди, участь которых войдет в ваше сердце, долго живут незаметно... Арабов увлекся одной бригадиршей, французской комсомолкой Катей Бессонэ-Фавор, забавной и разумной девушкой, и ушел с нею жить в любви навсегда, оставив жену с двумя сыновьями — одному было одиннадцать лет, а другому восемь. Жена Арабова, еще

молодая, но грустная, приходила некоторое время на завод к концу работы, чтобы поглядеть на своего мужа, от которого ее сердце, должно быть, не могло сразу отвыкнуть. Потом она перестала ходить; чувство ее любви пришло в изнеможение и прекратилось. Вскоре Груняхин узнал от Кати Бессонэ, что одиннадцатилетний сын Арабова застрелился из оружия соседа по квартире и оставил записку как большой человек. Катя, горюя, говорила в слезах, что где-то в комнате заскучал и самостоятельно умер ребенок — в то время, когда она упивалась счастьем с его отцом. Груняхин вздрогнул от испуга и удивления перед такой смертью, точно слабый вопль раздался перед ним среди всеобщего молчания. Он пожалел, что не знал раньше того ребенка, упустив из виду это существо.

Катя Бессонэ, мучимая своим сознанием, отвергла от себя Арабова, который хотел успокоить свое отчаяние в еще более страстной любви с нею, как это обычно бывает. Но и одинокой она быть не могла, поэтому Бессонэ пошла в кино с Груняхиным, а оттуда они вместе направились к бывшей жене Арабова. Катя знала, что похороны умершего состоялись сегодня утром, и хотела помочь матери в ее вечной разлуке с самым верным для нее маленьким человеком.

Жена Арабова встретила их равнодушно. Она была чисто и хорошо одета, точно убрана к скромному торжеству, спокойна и не плакала. Катю Бессонэ она конечно знала, а Груняхина только видела однажды на заводе, и не понимала, зачем он здесь.

Катя обняла ее сама первая, а жена Арабова стояла с опущенными руками и ничем ей не ответила, ей было теперь все равно, что с нею случается. Она механически завела примус и вскипятила чай чужим для нее гостям. Груняхину понравилась эта женщина, с лицом некрасивым и нелепым до жалости; нос ее был велик и тонок, губы серые и глаза бесцветные, умолкшие от одинокого труда по домашнему хозяйству; тело ее, несмотря на небольшие годы, уже засушилось и напоминало фигуру мужчины, а опавшие груди висели точно без дела.

Напившись чаю, гости собрались уходить. Свидание не привело к утешению и у самой Кати Бессонэ осталось внутри раздражение от бессилия своего слишком чувствующего, но бездеятельного сердца. Но при выходе хозяйка внезапно обернулась в пустоту своей комнаты. Груняхин внезапно оглянулся туда же, и ему показалось, что все предметы стали вдруг подобиями, искажениями какого-то знакомого, общего человека, может быть — его самого, все они, значит, обратили внимание на присутствующих людей и угрюмо усмехнулись на всех своим неясным лицом и положением. Бывшая жена Арабова наверно увидела то же самое, потому что она вдруг заплакала от своего вечного горя и отвернулась от стыда перед посторонними. Она инстинктивно знала, что помощи от других быть не может и лучше спрятаться одной.

Огорчившись такой жизнью, Груняхин вышел на улицу с Бессонэ-Фавор и сказал ей:

— Вы слышали, что есть золотое правило механики. Некоторые думали посредством этого правила объегорить всю природу, всю жизнь. Костя Арабов тоже хотел получить с вами, или из вас — как это сказать? — кое-что, какое-то бесплатное золото... Он его ведь получил немного...

— Немного — да, согласилась Бессонэ.

— Ну сколько получил — не больше грамма! А на другом конце рычага пришлось нагрузить для равновесия целую тонну могильной земли, какая теперь лежит и давит его ребенка...

Катя Бессонэ нахмурилась в недоумении.

— Не живите никогда по золотому правилу, — сказал ей еще Груняхин. — Это безграмотно и несчастно, я инженер и поэтому знаю, природа более серьезна, в ней блата нет. Ну до свидания, вон ваш автобус идет.

— Подождите, — сказала Катя Бессонэ.

— Нет, мне некогда, — ответил Груняхин. — Мне неинтересно, я не люблю, когда упиваются сами собой, а потом не знают куда деваться, и ходят со мной. Надо жить аккуратно.

Бессонэ-Фавор неожиданно засмеялась.

— Ну, идите, идите, — сказала она. — Чего вы от меня требуете, как будто я сама себя делала. Я не нарочно такая, я нечаянно. Ну я больше не буду, вы простите...

Груняхин возвратился в комнату жены Арабова. Она встретила его с прежним равнодушием, а он, перейдя порог, предложил ей выйти за него замуж, — больше предлагать было нечего. Женщина побледнела, словно в ней сразу собралась болезнь, но не ответила. Иван Степанович остался сидеть в комнате, пока не наступила поздняя ночь и движение на улице прекратилось. Тогда он поневоле заснул, а жена Арабова постелила ему место на коротком диване и велела лечь как следует.

Утром, как обычно, Груняхин пошел на работу, но вечером возвратился. Матрена Филипповна Чебуркова (фамилию мужа Арабова она перестала носить после его измены) не привечала нового человека и не выгоняла его. Он ей дал деньги — положил их на стол, она же автоматически скипятила ему чай и согрела что-то поесть из остатков своей еды. Через несколько дней вечером пришел дворник и велел Матрене Филипповне прописывать нового жильца — пусть что хочет делает: прогоняет его или выходит за него замуж, а так жить никто не позволит. Дворник был из некогда раскулаченных и поэтому держался за закон со всей точностью: он сам испытал и пережил государственную силу.

— Ты гляди, гражданка Чебуркова, как бы тебе не проштрафиться: казна убытка не любит.

— Ну уж ладно... Раньше небось не штрафовали, а как стала безмужняя, ослабшая...

— А ты прописывай его, — указал дворник на Груняхина, — не теряй женскую норму, а то и площадь упустишь и сама будешь как Пышка в кино, только худощавая.

— Завтра пропишешь, успеешь, — сказала Матрена Филипповна, — Теперь бабы думают не сразу.

— Видать! — произнес дворник и ушел. — Прежде, было, совсем не думали, а жили без глупости, как умные, — сказал он за дверью.

Через два дня Груняхин прописался временным жильцом, но Чебуркова велела ему переписаться на постоянную жизнь.

— Кто поверит, чтоб в одной комнате с кухней мужик с бабой врозь жили! — раздражительно заявила она. — А я тебе не девка, а женщина, — вот завтрашний день в загс со мной пойдешь, не живая буду! А то ступай, откуда пришел!

Все прошло формально и скоро, и жизнь Груняхина смирилась в чужой комнате. Он работал, Матрена Филипповна хозяйствовала, выражала разное недовольство и редко вспоминала сына, скорее всего лишь затем, чтобы после слез наступило то облегчение, которое равно наслаждению сердца; другое счастье она испытывать не могла или ей не встречалось случая. Втайне для нее самой смерть сына стала постепенно причиной тихого счастья ее жизни — после кратких слез, в медленных подробных воспоминаниях; и она призывала Ивана Степановича участвовать в ее бедном чувстве, где однако было согревающее тепло темного упоенья собственной скорбью и все терпение ее души. В такое время она всегда становилась более доброй и кроткой, чем требовал ее характер. Груняхин даже любил, когда Матрена Филипповна вдруг начинала плакать о своем погибшем ребенке, — тогда и Ивану Степановичу перепадала от жены какая-нибудь нежность или льгота.

Обыкновенно же Чебуркова ходить мужу никуда не позволяла, кроме работы, и следила по часам — вовремя ли он возвращается, а в собрания она не верила и начинала плакать и браниться, что второй муж тоже подлец и изменяет ей. Если же муж все же запаздывал, то Матрена Филипповна, отворив ему дверь, начинала его бить любым предметом — старым валенком, вешалкой вместе с одеждой, самоварной трубой от бывшего когда-то самовара, башмаком со своей ноги и другой внезапной вещью, — лишь бы изжить собственное раздражение и несчастье. В эти минуты Иван Степанович с удивлением смотрел на Матрену Филипповну, а она жалостно плакала, — оттого, что одно горе ее превратилось в другое, но не исчезло совсем. Груняхин, видевший уже многую жизнь, особо не мучился от такого обращения.

Второй сын Матрены Филипповны смотрел на ссору матери с новым отцом равнодушно, так как мать всегда одолевала отца. Но когда Иван Степанович схватил однажды руки жены, потому что она стала драть ногтями его горло, то мальчик сделал предупреждение:

— Товарищ Груняхин, не бей маму! А то я тебе живот шилом проткну, сукин сын!.. Не твой дом — и ты не задавайся!

Груняхин сразу опомнился: он забылся лишь нечаянно и то от сильной боли. Перед ним в жарком поту отчаяния, в усталости, с усердием всего своего сердца волновалась Матрена Филипповна, — она защищала мужа от разврата и обеспечивала его семейную верность. Иван Степанович слушал, терпел и учился.

По ночам он думал рядом с женой, что все это так и быть должно, иначе его жадное, легкое сердце быстро износилось и погибло бы в бесплодной привязанности к разным женщинам и друзьям, в опасной готовности броситься в гущу всей роскоши, какая происходит на земле.

Утром второй сын Матрены Филипповны — тоже Семен, как раньше назывался Груняхин, — сказал Ивану Степановичу:

— Что ж ты спишь с моей матерью? Ты думаешь, мне приятно глядеть на вас? Приятно или нет?

Груняхин оробел от вопроса. Жены не было, она ушла на базар за пищей. Наступал выходной день, когда люди живут домашними чувствами, общими размышлениями и водят детей в кино. Иван Степанович тоже пошел в кино с Семеном поглядеть советскую комедию. Семен остался доволен, хотя картину покритиковал — для него были мелки такие проблемы, он сам пережил больше. Дома Матрена Филипповна сидела перед портретом прошлого мужа и плакала о нем, а когда увидела Ивана Степановича, то застыдилась и перестала; большей любви Груняхину было не надо, стеснение Матрены Филипповны он понял, как высшую нежность и кроткое доверие к нему. Своего мучения от этой женщины он не считал, потому что человек еще не научился мужеству беспрерывного счастья — только учится.

Ночью, когда жена и сын уснули, Иван Степанович стоял над лицом Матрены Филипповны и наблюдал, как она вся беспомощна, как жалобно было сжато все ее лицо в тоскливой усталости и глаза были закрыты как добрые, точно в ней, когда она лежала без сознания, покоился древний ангел. Если бы все человечество лежало спящим, то по лицу его нельзя было бы узнать его настоящего характера и можно было бы обмануться.